Моя карта мира

Нина Абрамовна Воронель

SHOUT
SHARE
IT

-
- ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ
- ОКНО В ЕВРОПУ
- ВЕНЕЦИЯ – НЕАПОЛЬ
- ЕКАТЕРИНБУРГ
- ЯПОНИЯ И ЯПОНЦЫ
- МОЯ НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ
-
- РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, ТЫ УЖЕ ЗА ХОЛМОМ

МОЯ КАРТА МИРА

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ

Блаженной памяти Советская страна была велика и разнообразна, как пейзажами, так и народонаселением. И мне пришлось неплохо ее истоптать – в основном пешком, с рюкзаком за плечами. Некоторые из увиденных мною картин и услышанных по пути речей достойны, как мне кажется, быть увековечены.

Мужчинам никогда не сидится на месте, и нам, многострадальным их подругам, приходится с этим смиряться. Одна моя приятельница, женщина простая и мудрая, очень точно выразила идею смирения, когда ее муж, забросив уроки японского языка, начал брать уроки ныряния с аквалангом:

«Чем пить или таскаться по бабам, уж лучше пусть ныряет».

И потому, когда мой Саша и его неугомонный друг Миша, задумали горный поход на Тянь-Шань, чтобы, выйдя из Алма-Аты и перевалив через два малопроходимых перевала, добраться до озера Иссык-Куль, и я, и Мишина жена Нетта возражали недолго, в основном, для порядка. Тем более, что компания для похода подбиралась приятная.

Побродив денек по тенистым зеленым улицам Алма-Аты, мы выбрались еще на денек прогуляться в сторону местного ледника, картинно нависающего над городом. Кроме красот природы нас очень порадовали регулярно повторяющиеся надписи: «В случае селя выходи на склон!», выполненные крупными белыми буквами на окружающих отвесных скалах высотой в несколько десятков метров. Выяснив, что сель - это мощная грязевая лавина, сметающая на своем пути целые деревни, мы стали рассматривать предложенные нашему вниманию скалы с гораздо большим интересом, в надежде понять, как на них можно «выйти», не умея летать.

К счастью, селя в день нашего восхождения на ледник не случилось, и назавтра мы благополучно тронулись в путь. Нагрузив на спины непомерные рюкзаки с палатками и провиантом, рассчитанным на две недели безлюдья, мы заполнили собой маленький автобус, обещавший доставить нас до последней обозначенной на карте обитаемой точки по пути к первому перевалу.

На автобусной станции этой точки мы нашли грузовик, водитель которого согласился за умеренную плату подбросить нас до другой точки на карте, где должна была начинаться пешеходная тропа в горы. Водитель очень спешил, потому что, как он объяснил, приработок от нас был левый, - он вывалил нас с

нашими рюкзаками на плоской проплешине между невысокими сопками, выхватил из Мишиной ладони причитающиеся ему деньги и стремительно растворился в облаке поднятой им же самим пыли.

Мы огляделись – вокруг не было ни души. Но наших мужчин это не смутило – они заранее составили «кроки», так они называли точные карты каждого этапа похода, и не сомневались в успехе. Они только забыли, что никакая карта, даже самая точная, не может помочь, если не знать, где ты находишься. А именно этого мы, как вскоре выяснилось, никакими силами не могли узнать.

Наши многомудрые лидеры уверенно вели нас к трем стоящим рядом лесистым высоткам, но беда была в том, что большинство окружающих нас высоток, сплотились почему-то именно группами по три и все были покрыты редким леском. Каждая из трояшек не соответствовала описанному в кроках образцу какими-нибудь несущественными мелочами. А главное, в кроках было указано, что возле искомых высоток нам следует перейти вброд неглубокую речку Ой-Джайляу – и точно, подножия всех окружающих высоток омывала неглубокая речка, узнать имя которой было не у кого.

Пробродивши целый день от одних строенных высоток к другим, мы смертельно устали и решили переночевать на берегу безымянной речки. А наутро разбились на группы по три и начали отлавливать редких проезжих – один раз это была стайка школьниц на джипе, другой раз пожилой казах на осле. У каждого из них мы спрашивали: «Эта речка - Ой-Джайляу?» И каждый раз получали один и тот же вежливый ответ:

«Да, эта речка - Ой-Джайляу».

После чего мы снова принимались за поиски неуловимых трех высоток.

К концу второго дня мы, в процессе поисков, набрели на крошечный кочевой стан, состоящий из юрты, супружеской казахской пары с тремя детьми, двух ослов и веревки с сохнущей стиркой, натянутой между деревьями. Кто-то из нас, немного обалдевший от жары и нелепости ситуации, неожиданно для себя изменил форму рокового вопроса: «Как называется эта речка?» - спросил он. И хозяин юрты ответил, улыбаясь так же вежливо, как и все предыдущие: «Тур- Джайляу».

Миша – ответственный штурман экспедиции – схватился сперва за сердце, а потом за карту: и вправду, в пятидесяти километрах от нашего маршрута протекала извилистая речка Тур-Джайляу. По крайней мере стало понятно, почему наш шофер от нас удрать – он-то знал, что завез нас в совершенно другое место.

Выбраться из этой западни на первый взгляд представлялось практически невозможным, разве что переть с тяжеленными рюкзаками пятьдесят километров пешком по пересеченной местности.

«А почему все, кого мы спрашивали, отвечали, что это Ой-Джайляу?» - закричал Миша нервно.

«А что вы спрашивали?», - уточнил хозяин юрты.

«Мы спрашивали - это Ой-Джайляу?».

И тут хозяин все с той же любезной улыбкой открыл нам секрет казахского гостеприимства:

«Так что же вы хотите? Мы, казахи, народ вежливый, и на любой вопрос чужого человека всегда отвечаем утвердительно. Ответ «нет» может оскорбить гостя».

Потрясенный этой странной формой вежливости мы на миг забыли о безвыходности своего положения – на нас напал такой дикий приступ хохота, что мы долго не могли наладить дыхание: выходит, все эти дни они дурили нам голову из одной только любезности, не желая нас обидеть! Но зато мы теперь хорошо поняли, в какой форме нужно задавать вопросы местным жителям.

Не стану рассказывать, как мы добрались до Ой-Джайляу, как перевалили через первый перевал, имя которого заросло в моей памяти травой забвения, и как, переправившись через полноводную реку Чилим, начали восхождение на вторую гряду Ала-Тау, вкупе с третьей составляющую горную страну Тянь-Шань. Напомню только, что в одной из глав про Юлика и Андрея я уже описывала ледниковый перевал Суть-булак – этакий высокогорный аттракцион неземной красоты, состоящий из последовательной цепи присыпанных снегом волчьих ям. Там я по-настоящему поняла выражение «кто не дышал воздухом горних высот…», но не стану объяснять, потому что тот, кто им не дышал, все равно не поймет, чего он лишился.

Когда мы спустились с перевала Суть-булак, местами на ногах, местами по снегу на пятой точке, мы попали в некое подобие земного рая, осквернённого присутствием человека. Спуск был длинный и крутой, так что мы из полярной зоны попали прямо в субтропики, центром которых был город Тамга, некрасивым грязным пятном прилепившийся к берегу сказочного озера Иссык-Куль.

Этот населенный пункт городом можно было назвать только в насмешку – он представлял собой, и, небось, до сих пор представляет, горсточку убогих домиков с единственным магазином в центре. Магазин был, что называется, «за все услуги» - на его налезающих одна на другую полках были свалены

вперемешку кирзовые сапоги, молотки и напильники, мотки веревки, пачки залежалой лапши, окаменевшие пряники и кучка невостребованных с прошлого века консервных банок с тихоокеанскими крабами. Банки были украшены идущей по белому полю красной надписью «снатка», сокращением слова «Камчатка», написанным латинскими буквами. Жители Тамги, не подозревавшие о существовании латинского алфавита, дружно, произнося все буквы по-русски, называли продукт, наполняющий банки, «снаткой», и никогда его не покупали.

В центре магазина на отдельном деревянном пьедестале возвышался большой телевизор, к экрану которого было прикреплено написанное крупным детским почерком объявление: «Непокупателям трогать руками строго запрещается», - несмотря на настойчивые протесты моего грамотного компьютера, я сохранила первозданную орфографию. Из этой Тамги нужно было убираться поскорей, и мы принялись за поиски грузовика, который увез бы нас оттуда в столичный город Фрунзе, который сегодня называется Бишкек.

Однако очень скоро стало очевидно, что уехать из города Тамга не так-то просто, иначе, я думаю, все его жители давно бы разъехались. Автобус ходил, когда хотел, а хотел он не чаще двух раз в неделю, зато иногда ломался и не ходил вообще. Поймать какую-нибудь машину на шоссе было почти невероятно – движение на том, что носило там гордое имя «шоссе», было крайне жидким, и все машины проходили мимо полностью укомплектованные.

В конце концов, мы, вспомнив, что устав американской армии советует женщине, которую насилуют, расслабиться и постараться получить удовольствие, решили расслабиться и постараться получить удовольствие. Мы покинули грязные городские кварталы и разбили лагерь под одичавшими абрикосовыми деревьями, которыми зарос берег озера. Три дня мы праздно гуляли, любуясь озером и собирая абрикосы, от которых у всех начался бурный понос.

И тут Миша, зайдя слишком далеко от лагеря, случайно обнаружил затаившийся за скалой голубой грузовик, совершенно пустой и снабженный шофером, дремлющим за рулем. Думая, что шофер просто остановился передохнуть, Миша слегка потряс его за плечо. Шофер открыл глаза и потратил несколько секунд, чтобы сориентироваться на местности, а затем, недолго поторговавшись с Мишей о цене, согласился отвезти нас в будущий Бишкек.

Окрыленный удачной сделкой Миша, который уже почти опоздал на вылетающий на следующий день из Бишкека самолет,

ворвался в наш палаточный лагерь с громким криком: «Скорей, а то грузовик уедет!». И мы, наивно ему поверив, наспех запаковались и потащили к грузовику свои порядком полегчавшие после долгого пути рюкзаки. Закинув рюкзаки в кузов, мы взобрались вслед за ними и стали наблюдать за странными действиями шофера.

На наших глазах он много раз подряд производил одну и ту же операцию - медленно пятясь, он отступал от грузовика на пару метров, а потом, резко вытянув вперед обе руки, лихорадочно сжимающие какой-то удлиненный предмет, бросался в атаку на капот. Перед самым капотом его заносило в сторону, и он пробегал мимо машины, неловко соскальзывая в придорожную канаву. После чего возвращался и начинал все сначала. Постепенно до нас дошла суть того, что он делал – у него, по всей очевидности, не работал стартер, и он решил завести мотор при помощи заводной ручки. Однако он был настолько пьян, что ноги каждый раз резко уносили его в сторону от намеченной цели.

Я осторожно сказала Мише, весьма озабоченному своим опозданием на самолет:

«Разумно ли с ним ехать? Он ведь на ногах не стоит!»

На что Миша ответил вполне логично:

«Но ему ведь не придется стоять – он будет вести машину сидя!»

Спорить с Мишей было трудно, но ехать с вдребезги пьяным шофером по горной дороге, опоясывающей голубые красоты Иссык-Куля, тоже не хотелось. Пока мы – то есть остальные десять – шепотом решали, как быть, судьба решила за нас: в двадцати шагах от нашего голубого грузовика неожиданно остановился древний голубой автобус, напоминающий жестяную коробочку с леденцами, и высадил на дорогу с полдюжины пассажиров. Нас словно ветром сдуло с грузовика, и мы помчались к автобусу, не замечая даже тяжести своих рюкзаков. Помедлив с полминуты, Миша, который любил выполнять договоры, не выдержал и тоже помчался вслед за нами.

О радость! - в автобусе было семь свободных мест, и он ехал в Бишкек. Мы наспех сговорились о цене, и, не без труда разместившись, кто на сиденье, кто в проходе на рюкзаке, двинулись было в путь. Но тут перед автобусом возник странный взлохмаченный образ – до шофера голубого грузовика дошло, наконец, что он потерял выгодных клиентов. Ему бы лечь поперек дороги и не давать автобусу проехать, но он, как видно, не был знаком с методами мирного противостояния. И потому решил вернуть нас силой.

Высоко подняв руку с заводной ручкой, он обогнул автобус и с отчаянным матом бросился к его еще не закрытой дверце. Водитель автобуса втянул голову в плечи, готовясь принять сокрушительный удар, но наш бывший шофер опять повторил свой хорошо отработанный маневр – перед самой дверцей автобуса его собственные ноги занесли его тело далеко в сторону от намеченной цели, и он, как подкошенный, рухнул в канаву. Больше мы его не видели - стартер автобуса был в порядке, мотор взревел, и мы тронулись с места.

Не проехали мы и пары километров, как услышали громкую музыку духового оркестра. Оркестр в таком диком и пустынном месте? Или у нас начались галлюцинации? Водитель автобуса тоже заинтересовался этим странным явлением и притормозил у одинокого причала, неизвестно кем и для чего построенного в этой глуши.

Музыка доносилась с борта белого катера, красиво и быстро скользящего к причалу по бирюзовой глади озера. Не прошло и пяти минут, как катер пришвартовался и спустил сходни. Музыка грянула еще громче, и на сходнях появился первый космонавт Юрий Гагарин, собственной персоной, хоть изрядно растолстевший, он однозначно узнаваемый. Пока он медленным шагом шел по сходням к берегу, откуда-то из ущелья вынырнула бесшумная черная «Чайка» и притормозила у самого причала.

Гагарин, не бросив даже взгляда на двух матросов, отдающих ему честь у подножия трапа, неспешно прошел к распахнутой дверце «Чайки» и скрылся в ее сумрачной глубине. Черная «Чайка» отъехала так же бесшумно, как подъехала, и через мгновение скрылась в зарослях диких абрикос. Музыка на борту белого катера смолкла, и он тоже, на миг взревев мотором, исчез в сверкающем лазурном просторе.

А мы, все до одного, - и водитель, и пассажиры, - так и застыли с разинутыми ртами: было это видение реальным или нам просто померещилось? Художник Николай Рерих, считающийся главным специалистом по мистическому озеру Иссык-Куль, настаивал, что у людей непривычных там часто бывают галлюцинации. Замечу только, что наша, если и была, то была коллективная.

От остальных путешествий в горы у меня не осталось таких последовательно ярких воспоминаний, а лишь красочные обрывки. Так из Кавказского цикла я помню только фантастически-преувеличенные цветы на альпийских лугах над идеально круглым кратером озера Цахвоа. Таких цветов я не видела больше нигде и никогда – ни ромашек размером с тарелку, ни васильков крупнее чайных блюдец. И застывшее над

всем этим великолепием вековое молчание сомкнутого кольца девяти снежных вершин, разделенных заснеженными перевалами, среди которых было совершенно невозможно выделить тот, что нам нужен.

Алтай запечатлелся у меня в памяти всего лишь несколькими штрихами – непрерывным шорохом мелкого, никогда не прекращающегося дождичка и стремительным потоком изумрудно-зеленой реки Катунь, волочащей по своему руслу могучие бревна и многотонные валуны. Но главное - и по сей день сияет в моем сердце трогательный образ встреченной на лесной тропинке маленькой пионерки с ясным личиком монгольского бронзового божка над красным галстуком, которая на вопрос, много ли в их лесу грибов, чистосердечно ответила нежным детским голоском:

«До хуя!»

Зато путешествия по водам доставили мне нескончаемый материал для рассказов и психологических зарисовок.

Поездка в дельту Волги началась с чуда – для этой поездки Марья Синявская неожиданно одолжила Саше охотничье ружье Андрея. Этот поступок всех нас потряс, так как щедрость никогда не была отличительной чертой Марьиного характера. А тут – сама предложила, да еще такую ценность! Хоть мы ехали охотиться и ловить рыбу, ни у кого другого в нашей компании ружья не было, ни собственного, ни взятого напрокат. Ружье у Андрея было замечательное, оно и сегодня стоит у меня перед глазами, как живое, - красивая охотничья двустволка с хорошо полированным прикладом золотистого дерева.

Ружье это, как и положено по канонам чеховской драматургии, выстрелило в нужный момент и сыграло свою роль в драматическом происшествии, которое можно было бы запросто назвать «Утиная охота», если бы Александр Вампилов уже не заявил права на это заглавие.

Но начнем с самого начала. Нас было семеро – три супружеские пары и один общий друг, Гена, жена которого не смогла к нему присоединиться. Мы приехали в Астрахань на поезде, волоча на себе огромные рюкзаки со всем необходимым дорожным припасом, включающим палатки, спальные мешки, кастрюли, сковородки, ложки-плошки, и какую-то крупу, так как собирались провести две недели на необитаемом островке в самом сердце волжской дельты.

Однако мы принципиально не взяли с собой ни мясных, ни рыбных консервов – предполагалось, что мы сумеем полностью снабжать себя продуктами собственной охоты и рыбной ловли. На предмет рыбной ловли мы были неплохо оснащены удочками и

крючками, на предмет же охоты у нас как раз и была шикарная охотничья двустволка Андрея, любезно одолженная Марьей при условии, что Саша никому другому не доверит из нее стрелять.

Наши мужчины, по их утверждению, заранее наметили то райское место среди зарослей дельты, где утки густо висят в воздухе, надеясь быть подстреленными, а рыба сама просится на крючок. Оставалась только не сложная на первый взгляд задача до этого райского местечка добраться. Вдохновленные этой целью мы, хорошо, как нам казалось, подготовленные для предстоящих двух недель вдали от человечества, двинулись к пристани, где рассчитывали нанять моторную лодку, достаточно большую, чтобы в нее вместились и мы, и наша громоздкая кладь.

Однако на пристани мы довольно быстро выяснили, что такая лодка не томится у причала в страстном ожидании нашего появления. Каждый раз что-нибудь оказывалось не так – или размеры лодки не соответствовали нашим запросам, или хозяин лодки заламывал несусветную цену за свои услуги, а в большинстве случаев он был попросту недостаточно трезв для такого ответственного путешествия.

Пьяных водителей мы опасались, у нас уже был печальный опыт не с одним из них, правда, в нашем прошлом это были водители грузовиков, но в результате у нас появился предрассудок, что и водители моторных лодок тоже предпочтительны трезвые. В конце концов, мы нашли одного толстого мужика с бабьим голосом, - он называл себя Шкипером и обещал к утру проспаться и отвезти нас на тот райский островок, о котором мечтали наши мужчины.

Во всем этом деле была одна проблема, которую мы не стали обсуждать со Шкипером, пока он не протрезвел, – а именно, как можно было получить гарантию, что он за нами на этот островок через две недели приедет? Дельта Волги - это вам не твердая земля, по которой можно, в случае крайней нужды, дойти обратно пешком. Это огромное, на много сотен квадратных километров, болото, изрытое стремительно текущими вниз, к морю, протоками. Лодка без сильного мотора пройти по этим протокам против течения не может, - если она не сядет на мель посреди какой-нибудь заросшей травой болотистой заводи, ее неизбежно снесет в то самое Каспийское море, в которое, как всем известно, Волга впадает.

А что, если Шкипер спьяну о нас забудет или передумает, подхватив другой, более выгодный заказ? Мы-то знали, что практическое решение этой проблемы, состоит в выплате денег только при окончательном расчете по возвращении, но согласится ли Шкипер ждать так долго? Как мы и предполагали, услыхав

наутро наше предложение об окончательном расчете в конце пути, Шкипер вышел из себя и наотрез оказался нас везти. Однако и он, и мы понимали, что это не более, чем необходимый для его самоуважения спектакль. И действительно, после нескольких демонстративных уходов и возвращений Шкипер согласился получить деньги с небольшой добавкой после приезда за нами на остров. Мы погрузили свои рюкзаки на его вместительную моторку «Настя», и отправились вниз по течению Волги.

Широкий речной простор начал быстро заполняться торчащими прямо из воды кустами и осоками, и вскоре превратился в стремительный узкий поток, несущийся сквозь густые травянистые джунгли. Если полчаса назад глазу щедро открывались неохватные заволжские дали, то теперь уже ничего не было видно, кроме подступающих к самой лодке зарослей камыша. Весь наш недолгий речной путь был заполнен писклявым голосом Шкипера, увлеченного сексуальными фантазиями о местных татарках. Особенно часто он повторял полюбившуюся ему сентенцию:

«Каждая баба, она баба и есть. Вот татарки – другое дело: у них все поперек. Что у других баб вдоль, то у них поперек!»

Вдохновленный мыслью о поджидающих его в Астрахани татарках он домчал нас до места назначения экспрессом. Уже через час после входа в дельту «Настя» пришвартовалась к крошечной песчаной бухточке, с трех сторон окруженной кустами и камышом.

«Так через две недели!» - пискнул на прощание Шкипер и умчался к своим татаркам.

Жилого пространства на выбранном нами островке было не больше, чем шесть метров на четыре. После того, как мы поставили три палатки и соорудили очаг, осталась песчаная площадка размером в носовой платок и узенькая тропка вдоль берега. Всю остальную небольшую поверхность острова занимали непроходимые субтропические заросли, в которые даже сходить по нужде можно было, только соблюдая крайнюю осторожность. Единственным нашим плавучим достоянием была деревянная лодка, рассчитанная на двух гребцов и одного рулевого.

Зато на соседнем острове – через проток - жил свирепый вепрь, который временами бушевал в его дебрях, совсем как в песне про Ермака: «Ревела буря, дождь шумел… и вепри в дебрях бушевали». Пока мы куковали на своем необитаемом острове, бури, к счастью, ни разу не было, но вепря нам много раз довелось услышать, и несколько раз увидеть. Вернее, не его самого, а его взъерошенную тень, когда он, бушуя и

отвратительно хрюкая, мелькал среди таких близких, но слава Всевышнему, недосягаемых зарослей своего острова. Меня, как и моих подруг, очень волновал вопрос, не может ли вепрь, несмотря на фантастическую силу бурлящей мимо нас воды, переправиться на наш берег. На что наши мужчины авторитетно заявляли, что беспокоиться нам не о чем - раз они, такие герои, могут через наш проток переправиться только на лодке, то вепрь, не имея лодки, не может вообще.

Поселившись основательно, мы начали новую жизнь, которая, с моей точки зрения, была ужасна. Делать было абсолютно нечего, купаться в безумном речном потоке было невозможно, отойти от площадки было некуда, отплыть на лодке оказалось проблематично. На второй день состоялось первое, и наиболее успешное, действие спектакля «Утиная охота», в кульминационный момент которого Саша подстрелил двух уток. Одна утка упала в кусты во владениях вепря, а вторую подхватил и унес безжалостный водный поток. Трое из наших героев загрузились в лодку – больше троих она не принимала, угрожая немедленно затонуть при перегрузке, - с большой сноровкой пересекли проток по диагонали и вытащили из кустов тушку первой утки.

Им бы этим удовлетвориться, но они жаждали утиного мяса и справедливо подозревали, что одной щуплой уточки на семерых будет мало. Поэтому они в мгновение ока скользнули вниз по течению и исчезли за замыкающим остров холмиком. Через час они появились из-за того же холмика, и тут началось второе действие того же спектакля «Утиная охота». Отделявшее их от нас расстояние в двести метров их лодка прошла минимум за два часа, причем отважные гребцы не всегда сохраняли свою позицию в поле нашего зрения, особенно в начале пути. Какой-нибудь неловкий взмах весел, и лодку уносило обратно за пределы острова. Как потом нам было рассказано, сразу за островом поток впадал в большой, заросший кувшинками водный резервуар, где течение почти полностью прекращалось. Это водное поле, тонким слоем размазанное над бесконечным вязким болотом, тянулось куда-то далеко на юг. Ни одной из женщин так и не довелось увидеть эту безбрежную тихую заводь, потому что вернуться обратно возможно было только в случае, если лодкой управляли три сильных гребца.

В тот первый раз мы с трепетом наблюдали, как наши гребцы пядь за пядью приближались к бухточке. Наконец, они, чуть пошатываясь, ступили на твердую почву, и покаялись, что вторую уточку им найти не удалось, она исчезла в зеленых дебрях болота. Нам пришлось довольствоваться тем, что каждый из нас

сумел добыть, тщательно обгладывая хрупкие косточки первой. На этом спектакль «Утиная охота» пришлось снять с репертуара, потому что разумные уточки быстро научились облетать наш опасный остров стороной. Саше еще один раз повезло – он подстрелил маленькую зеленую цаплю, которая оказалась еще вкуснее уточки, но зато гораздо меньше.

Рыба и впрямь сама лезла на крючок, но к началу второй недели на рыбу мы даже смотреть не могли. Сдуру мы не запаслись ни хлебом, ни картошкой, предполагая жить исключительно на природе и добывать пищу только охотой и рыбной ловлей. Выбранное нами место было на удивление необитаемым – за две недели мимо нас проплыл вверх по течению один-единственный бородатый рыбак в хлипкой одноместной лодчонке с чихающим мотором, и все! Учитывая, что уплыть обратно без моторной лодки мы не могли, в народе начались волнения и тоска по мясу.

И тут наступил день, - по-моему, десятый, считая с момента нашего прибытия на райский остров, - когда судьба милостиво вернула нас к спектаклю «Утиная охота», в самой что ни на есть драматической его форме.

Как всегда, после отвратительного обеда, состоявшего из опостылевшей рыбы на первое, второе и третье, мы расположились на своем песчаном пятачке, занимаясь кто чем. Я, например, уже десятый день героически пыталась читать скучнейший роман Томаса Манна «Иосиф и его братья», который так и не прочла, даже на необитаемом острове. Было очень тихо, только камыши чуть шуршали на ветру да на соседнем островке периодически хрюкал всегда недовольный вепрь. И вдруг кто-то из нас поднял голову и увидел высоко в небе движущуюся точку.

«Саша, стреляй скорей! Гусь!» - крикнул он, подстегиваемый напрасно переполнявшим его желудок ферментом, предназначенным для переваривания мяса. Саша, тоже уставший от бесконечных рыбных обедов, ужинов и завтраков, быстро схватил ружье, прицелился и выстрелил. Выстрелил он всего один раз - точка в небе была так далеко, что вся затея казалась совершенно бессмысленной.

Но к нашему удивлению, точка прекратила поступательное движение и начала медленно увеличиваться, то есть падать. Через пару минут стало видно, что это и вправду птица – а что еще, собственно, это могло быть? С каждой минутой птица становилась все больше.

«Точно, гусь», - сказал кто-то с вожделением.

«Зажарим на сковородке», - мечтательно подхватил второй.

«Нет, лучше испечем на углях», - не согласился третий.

Однако падающая птица все продолжала и продолжала увеличиваться, так что начали возникать сомнения, гусь ли это. Через пять минут, когда силуэт птицы заслонил половину неба, мы с ужасом поняли, что Саша подстрелил орла. Настоящего огромного орла с орлиным носом и яростными желтыми глазами.

Орел упал в проток прямо перед нашими потрясенными взорами – Сашин прицел был совершенен не только в смысле попадания в яблочко, но и в смысле точности координат – ему так хотелось, чтобы вожделенный гусь упал прямо к нам на сковородку! Однако гусь оказался орлом с размахом крыльев не меньше двух метров, а то и больше. Беда была в том, что одно крыло у него было перебито пулей до самого основания и беспомощно тянулось за ним по воде, которая тут же подхватила его и поволокла к южной оконечности острова. Он громко закричал что-то картавое и забил неповрежденным крылом по поверхности воды, но это не помогло – он не мог ни взлететь, ни противостоять силе течения.

Одна из женщин, жалея орла, выкрикнула истерически: «Его же стервятники заклюют!», на что ее муж ответил рассудительно: «Не успеют! Мы его сейчас поймаем и сами съедим!».

С этими словами все, кто успел, вскочили в лодку, куда помещались только трое, и отправились в погоню за орлом, а четвертый, бесхозный Гена, за безопасностью которого некому было следить, не раздумывая, прыгнул в реку, и течение понесло его вслед за другими. Потом он утверждал, что прекрасно рассчитал, как его вынесет в стоячую воду огромного болота, а уж там как-нибудь обойдется. Наши мужчины объединенными силами выловили из воды тонущего орла, втащили его в лодку, и двинулись в обратный путь. За прошедшие десять дней они намного усовершенствовали технику возврата, сведя его время к получасу. Гена, уцепившись за лодку, героически плыл за ними.

Первые пятнадцать минут орел лежал почти бездыханный, затянув желтые глаза белесой мертвенной пленкой, но потом встрепенулся и бросился в бой, угрожая своим мучителям острым клювом и свирепым клекотом. Положение складывалось ужасное – и без битвы с орлом пробиваться против течения было нелегко, а тут еще приходилось отбиваться от его яростных наскоков. Орел, хоть и раненный, вполне мог перевернуть неустойчивую лодку, да и вообще было неясно, что с ним делать, если не съесть.

В результате наши рафинированные интеллигенты, едва пришвартовавшись, бросились на орла и, не выходя из лодки, начали колотить его по голове тяжелыми веслами. Их охватил настоящий амок, - орел уже был мертв, а они все били и били его веслами. А мы, их преданные, но слишком чувствительные жены,

выстроившись на берегу, рыдали, ломали руки и обзывали их убийцами и извергами. Не думаю, что мы устроили бы такую истерику, если бы это был гусь. Ведь мы же спокойно отнеслись к охоте на уточек и на прелестную зеленую цаплю, - да и вообще, никто не держал от нас в секрете затею прокормиться охотой. Почему же мы рыдали и ломали руки? Неужели потому, что это был орел?

Надо признать, что, прикончив орла, наши мужчины пришли в себя не сразу – они были слишком возбуждены этой короткой, но кровавой битвой с гордым хищником, наверняка за свою долгую жизнь сожравшим живьем не одну тысячу кротких курочек и цапель. И все-таки в его смерти от нашей руки было какое-то нарушение неписанной табели о рангах. Когда буря эмоций улеглась, было решено орла сварить и съесть – Саша с самого первого дня объявил, что мы обязаны съедать всех, кого мы подстрелили. И в подтверждение своих слов сварил и съел случайно подстреленную им ворону – никто, кроме него, не согласился прикоснуться к ее отвратительному лиловому мясу.

Мясо орла готовы были есть все, но из этого ничего не вышло – после трех суток упорного кипячения его в котле над костром даже мелко-мелко наструганные его ломтики было невозможно разжевать. Они остались, как и в начале, тверже дерева. Бульон, правда, был вкусный. На этом, казалось бы, историю с орлом можно было считать законченной. Но два из трех встреченных мною через двадцать пять лет участника этой поездки с восторгом вспоминали, как они одним выстрелом попали в орла, летевшего высоко в небе. И это при том, что выстрел был произведен один-единственный, из ружья Андрея, из которого Саша, верный данной Марье клятве, никому не доверял стрелять.

К моменту, когда мы выпили весь котел бульона, у нас уже начал пропадать аппетит, потому что наш Шкипер, который должен был приехать за нами утром, к пяти часам еще не появился. Женщины, как более беспокойные, начали уже высказываться в том смысле, что, мол, не пора ли готовиться к зимовке на случай, если он забыл, куда за нами ехать. Мужчины хмуро отмалчивались, но было заметно, что и у них на душе тоже неспокойно. В начале шестого невдалеке застрекотал мотор, и из дальних зарослей появилась «Настя», на радостях показавшаяся нам Василисой Прекрасной.

Обратная дорога, естественно, была гораздо дольше, - ведь приходилось плыть против течения. Чтобы не скучать по пути, наш любвеобильный Шкипер прихватил с собой друга, хриплого мужика с обветренным лицом, который представился, как инспектор по надзору за рыбной ловлей и которого Шкипер

называл Рыбнадзором. Не задействованный управлением моторки, он успел накачаться еще по дороге к нам, а может, и гораздо раньше, так что к моменту прибытия в нашу бухточку был уже изрядно бухой.

Как только моторка двинулась в сторону Астрахани, выяснилось, что у Рыбнадзора, как и у Шкипера, тоже были фантазии, связанные с татарами, только скорее гражданские, чем эротические. «Ты в тюрьме сидел?» - спрашивал он каждого из нас, но, как оказалось, и вопрос был риторический. Целью его был рассказ о себе:

«А я сидел, - отзывался Рыбнадзор, независимо от полученного ответа. - Восемнадцать месяцев мне дали, у меня семейная драма была. Ты семейную драму знаешь?»

Никто из нас семейной драмы не знал, и Рыбнадзор шел дальше – семейная драма была у него только запевом:

«Сидел там со мной один, Ренат-татарин…, е-мое. Четверо их было, Ренат-татарин, Змей едучий и еще два кореша, забыл как звали … Женщину-красавицу, инкассатора, е-мое, они убили, два миллиона триста тысяч взяли, и получили десятку и пять по рогам …».

До Астрахани мы так и не доехали, а остановились в нескольких километрах от города ночевать на дебаркадере - так называлась плавучая пристань с маленьким домиком в центре, где Шкипер служил ночным смотрителем. Он охотно согласился за небольшую доплату предоставить нам ночлег в домике, и мы начали раскладывать свои спальные мешки в небольшой комнатке, торжественно названной им «зал ожидания». Все мы очень устали и мечтали поскорей уснуть, чтобы не проспать свой ранний рейс в Москву.

Но эта мечта так и не сбылась. Сначала загрохотал мотором «Насти» Шкипер, отправляясь вместе с Рыбнадзором покупать водку на заработанные у нас деньги. Не успели они отбыть, как по трапу дебаркадера затопали громкие шаги и громкий женский голос, очень похожий на голос Шкипера выкрикнул:

«Митрий, где картошка? Картошку привезли?»

Не получив ответа, хозяйка голоса протопала мимо нашего зала ожидания на другой борт дебаркадера, где обнаружила, что «Насти» у причала нет. Задохнувшись от возмущения, она с воплем: «Неужто к татаркам поехал, проклятый?» стала распахивать все двери подряд, и, в конце концов, обнаружила нас. Несмотря на грубую одежду и оплывшую фигуру лицо ее еще хранило следы былой привлекательности – уж не в ее ли честь моторка Шкипера была названа «Настей»?

«Вы кто такие будете? – грозно спросила Настя, и

приготовилась было гнать нас в шею, но одумалась. – Это вас, что ль, Митрий с дельты сегодня припер?»

На миг призадумавшись, она сложила в уме два и два и получила искомый ответ:

«Ну да, раз вы ему заплатили, так он водкой отовариваться поехал».

Как ни странно, этот вывод ее успокоил и примирил с нашим присутствием, она протопала на верхнюю палубу и затихла. Но спать нам так и не пришлось. Только замолкли Настины шаги по трапу, как на сцену явилось новое действующее лицо. Сначала невидимое, оно неуверенно запело за сценой, нащупывая то ли мелодию, то ли слова:

«Белое море, белый пароход!»

Потом уже уверенней и громче:

«Синее море, синий пароход!»

Рокот мотора приближающейся «Насти» поглотил пение, и оно утонуло в шуме, поднятым ее тезкой при виде Шкипера и Рыбнадзора, сгружающих на палубу ящик водки. Мы все еще тщетно пытались заснуть под звуки нарастающего между Настей и Шкипером скандала из-за какого-то пропавшего мешка картошки, и не сразу заметили, что вокалист потихоньку проскользнул в зал ожидания и норовит втиснуться между нашими телами в спальных мешках.

«Холодно мне, - бормотал он, распространяя вокруг сильный запах водочного перегара, и старался потесней прислониться к одной из наших женщин. – Холодно мне, вот я и замерз».

Женщины завизжали, мужчины начали выбрасывать Пьяного вон из комнаты, - стало совсем не до сна. В проходе появился Рыбнадзор. Увидев Пьяного, Рыбнадзор сразу приступил к деловому разговору:

«Ты в тюрьме сидел, е-мое?» – спросил он строго.

«Обязательно! – охотно отозвался Пьяный. – Получил десятку и пять по рогам».

Ответ Пьяного поразил Рыбнадзора в самое сердце. Он схватил Пьяного за плечи, притянул к себе и начал вглядываться в его лицо. Пьяный заморгал и затих.

«Да ведь это точно он, Змей едучий!» - заорал Рыбнадзор в восторге. – Получил десятку и пять по рогам, е-мое! Если б это был Ренат-татарин, я б его сразу узнал! Значит, выходит, точно он, е-мое!»

На шум по трапу спустились с палубы Шкипер с Настей, все еще продолжая выяснять, куда девался мешок картошки.

«Небось, ты его не покупал, а деньги пропил?» - настаивала Настя.

«Да купил я его, купил! И тут, у мостков, поставил», - не соглашался Шкипер.

«Так куда же он делся? Может, взял и ушел?»

«Может, его украл кто?» - предположил готовый на все Шкипер.

Тут в разговор вмешался Рыбнадзор:

«Да он его и украл, Змей едучий! Он это, Змей едучий, точно он, е-мое! Получил десятку и пять по рогам! Если бы Ренат это был, татарин, я б его сразу узнал! Он из меня в тюрьме кровь стаканами пил. Выходит, это он картошку украл, е-мое!».

Настя занялась расследованием дела о пропавшей картошке. Она спросила Пьяного:

«Ты куда мою картошку девал?»

«Съел», - громко икнул Пьяный.

«А мешок куда девал?»

«И мешок съел!»

«Да кто ж тебе позволил – чужую картошку есть? Да еще с мешком! Она ж денег стоит!».

«Отдавай картошку!» - взвизгнул Шкипер, осчастливленный этим новым поворотом дела, отводящим от него все Настины обвинения. Пьяный еще раз икнул и сел на пол, намереваясь лечь. Но Рыбнадзор не позволил ему прохлаждаться, - он понял, что сможет, наконец, получить сдачу за всю причиненную ему несправедливость. Он схватил Пьяного подмышки и поволок его к сходням, приговаривая:

«Пошел вон, Змей едучий! Ты из меня в тюрьме кровь стаканами пил, так я из тебя теперь хоть ложкой зачерпну! Он два миллиона триста тысяч взял, женщину-красавицу, инкассатора, убил, е-мое, и глаза ей выколупал».

«Если у него два миллиона триста тысяч есть, пусть он мне деньги за картошку вернет», - рассудительно решила Настя, глядя, как Рыбнадзор тащит Пьяного по проходу. Пьяный упирался ногами в пол, не соглашаясь, чтобы его выбросили в темноту. Рыбнадзор приналег:

«…женщину-красавицу, инкассатора, убил, е-мое, и глаза ей выколупал. Это чтобы по глазам не узнали, кто ее убивал. Потому что у мертвецов в глазах все отпечатывается, как в зеркале, е-мое…»

Пьяный стал отбрыкиваться так сильно, что Рыбнадзор устал и сел рядом с ним, - передохнуть. Тогда на смену ему пришел Шкипер.

«Так ты отдашь картошку или не отдашь?» - повторял он, ногой подталкивая Пьяного к сходням, но Пьяный довольно ловко уворачивался и катился обратно.

«Холодно мне, - причитал он при этом. – Пустите меня погреться. Холодно мне, вот я и замерз».

«А мне в тюрьме холодно не было, когда ты из меня кровь стаканами пил? - поддержал разговор Рыбнадзор, но уже без прежнего пыла. – Так я из тебя сейчас хоть ложкой зачерпну, е-мое…».

«Мне тоже что-то холодно стало, - присоединился Шкипер, тоже уставший от безрезультатной борьбы с Пьяным. – Пойти, что ли, еще водочки принять?»

И тут же позабыв про Пьяного, загрохотал сапогами по ступенькам трапа. Настя задумчиво поглядела ему вслед, раздумывая, не пойти ли и ей принять немного водочки. Решив, по-видимому, пойти и принять, она тоже махнула рукой на Пьяного, так и не получив компенсации за исчезнувший мешок картошки. Рыбнадзор хотел было тоже пойти за ними, он даже сделал попытку приподняться с места, но силы оставили его. Он свернулся калачиком рядом с Пьяным, который, снова пожаловавшись, что ему холодно, придвинулся к Рыбнадзору поближе. И оба мирно захрапели спина к спине.

К этому времени уже начало светать, небо на востоке прочертили розовые полосы, и вдали застрекотал мотор «Ракеты», на которой мы намеревались добраться до Астрахани. Мы собрали свои вещички и уехали, так и не досмотрев окончание спектакля «На дебаркадере».

Другая наша поездка по другой водной магистрали была ничем не похожа на эту. Путь наш лежал через всю Сибирь, но не вдоль, а поперек - вниз по Енисею через Полярный круг от Красноярска до Норильска. К счастью такой грандиозный замысел нельзя было бы осуществить ни на моторке, ни на деревянной лодке с уключинами, так что нашим мужчинам пришлось поступить, как большинству нормальных людей, и снизойти до путешествия на вульгарном теплоходе. Это решение далось им нелегко, но они понимали, что иначе Полярный круг не пересечь.

Чтобы хоть как-то скомпенсировать свое моральное падение, они постарались подобрать для этого путешествия группу побольше, состоящую , в основном, из настоящих бесстрашных туристов, – мол, не один я в этом поле кувыркался. В результате, нас набралось 14 человек, и , как ни странно, это, казалось бы, небольшое число помогло нам построить на теплоходе модель победы партии большевиков в Российской революции. Всего пассажиров на теплоходе было сто восемьдесят, а нас, как я уже сказала, всего четырнадцать, но мы образовали ударный кулак, объединенный общей целью – подчинить своим интересам все мероприятия, происходящие в пути. И подчинили!

Наша победа основывалась на том, что остальным было практически все равно, где и на сколько часов делать остановки и по каким тропам совершать сухопутные вылазки. А нам – не все равно. На теплоходе была заведена псевдо-демократическая традиция участия пассажиров в решениях капитана, и мы умудрились избрать своих представителей во все комиссии – по бытовым претензиям, по составлению меню, по маршрутам прогулок. Капитан в прямом смысле вздрагивал, когда наша главная защитница групповых интересов, активистка Галя, занимавшая должность председателя Совета комиссий, направлялась в его сторону. И заранее соглашался со всеми ее требованиями, которые мы каждый вечер вырабатывали сообща.

Мы захватили власть на пароходе! Так что, если бы нам довелось участвовать в следующей настоящей революции, мы бы уже знали, как это делается.

Судоходство на Енисее продолжается всего два месяца, июль и август, пока река не «стала», но эти два месяца там царит жаркое лето. Теплоход медленно полз меж двух высоченных зеленых стен непролазной тайги. Впрочем, медлительность его могла быть просто кажущейся, из-за того, что продвижение его невозможно было зарегистрировать, благодаря абсолютной несменяемости пейзажа – мы с таким же успехом могли бы просто стоять на месте. Единственное, что менялось – это продолжительность солнечного дня, который становился все длинней и длинней. К моменту достижения Полярного круга ночь практически самоустранилась, и наступил вечный день.

Было какое-то извращенное наслаждение в том, чтобы загорать на палубе в два часа ночи – температура стояла, как в Сочи, что-то около тридцати градусов жары. Мы подняли рюмки в честь торжественного момента пересечения Полярного круга.

«А раньше, - сказал капитан, задумчиво разглядывая наши загорелые животы, просвечивающие между двумя полосками бикини, - Полярный круг проходил на четыре километра северней».

«А потом он что, взял и сместился?» - хихикнула активистка Галя.

«Не то, чтобы сам, - опасливо покосился на нее капитан. – Нашлись такие, которые его сместили».

«А кому он там мешал, на четыре километра северней?»

«Товарищу Сталину он мешал. Товарищ Сталин ссылку при царе отбывал в Туруханске, а Туруханск на четыре километра до Полярного круга не дотянул. Так вот, когда объявили, что товарищ Сталин отбывал ссылку за Полярным кругом, Полярный круг пришлось передвинуть».

Сраженные наповал неумолимой логикой этого объяснения, мы решили сделать двухчасовую остановку в Туруханске. Пассажиры высыпали на берег и разбрелись по узким улочкам, тянущимся вдоль убогих домишек местного населения – какой-то разновидности индейцев по имени селькупы. В журнале этнографического общества написано, что вдоль Енисея жили когда-то вымирающие ныне охотничьи племена кетов и селькупов. О кетах я расскажу позже, а селькупы, осчастливленные нашим непривычным интересом к их скромной жизни, вынесли из домов все, чем они могли похвастаться – грубо обработанные лосиные шкуры и свежую рыбу

Рыбу у них купил капитан – нам на ужин, а шкуры, как оказалось, они обрабатывали не для продажи, а для собственных нужд. Одна из туристок начала умолять какого-то селькупа продать ей особо понравившуюся ей шкуру. Тот сначала упорно отнекивался, а потом сдался и объявил, что он ей эту шкуру дарит. Туристка обрадовалась, но объявила в ответ, что не может принять такой ценный подарок, и начала настаивать, чтобы он назвал цену шкуры. Селькуп еще немного поотнекивался, а потом согласился взять за шкуру десять рублей.

«Но это ведь ужасно дорого!» - возмутилась туристка, и принялась отчаянно с ним торговаться. Я не стала дожидаться конца их торговли, но потом видела, как эта туристка несла к себе в каюту свернутую в трубку шкуру и громко хвасталась своей необычайно выгодной сделкой.

Покинув селькупов, мы двинулись дальше – солнце в ночи сияло все дольше, река становилась все шире, а воздух холодней. Постепенно начала исчезать тайга, - сначала она сменилась негустыми низкорослыми рощами, а потом деревья вовсе исчезли, и вдоль весьма отдалившихся берегов потянулись бесконечные равнины, поросшие светло-зеленым пухом. Начиналась зона вечной мерзлоты.

На следующий после Туруханска день мы пришвартовались у довольно большого, совершенно плоского острова. Нам навстречу вышла небольшая группа очень бедно одетых индейцев – это были вымирающие кеты. Согласно журналу этнографического общества ко времени нашего Енисейского путешествия их оставалось не больше тысячи человек.

Похоже было, что они нас ждали, и ждали с нетерпением – как только матросы теплохода сошли на берег, там началась какая-то возбужденная суета. Откуда-то из глубины острова потащили огромные садки с плещущейся в воде рыбой, а с борта теплохода стали сгружать ящики, полные водочных бутылок. Капитан радостно сообщил нам, что сегодня на ужин нас ожидает

необыкновенное лакомство – вкуснейшая в мире рыба чавыча, абсолютно не поддающаяся транспортировке. Эту партию чавычи специально для нас выудили из реки всего за час до нашего прибытия, так что нам предстоит редкое удовольствие ощутить ее неповторимый вкус со всеми оттенками.

Чтобы это удовольствие не проморгать, нужно было спешить к ужину. Так что капитан отпустил нас на берег всего на один час, просто, чтобы размять ноги. В предвкушении ни с чем не сравнимого пира, мы отправились на короткую прогулку по безымянному острову кетов. Недалеко от берега стояли три чума из звериных шкур, в центре каждого теплился огонь в каменном очаге, в шкурах над очагом зияла круглая дыра, предназначенная для вытяжки дыма. Мы вошли в один чум. Вытяжка там была неполноценной, и дым немедленно начал есть нам глаза. На стене чума бросались в глаза две яркие деревянные картинки, наводящие на мысль об иконах.

«Вы что - религиозные?» - спросил Саша у женщины, качающей колыбельку.

«Нет, нет, это иконы для детей», - ответила она.

«Что значит – для детей?» - озадачилась я.

«Ну, когда дети болеют, так им помогает».

Согнувшись в три погибели, мы вышли из чума наружу, и нас окружила веселая толпа кетов. Каждый держал в руке бутылку водки и со счастливым видом отхлебывал ее содержимое большими глотками. Впереди всех стояла сморщенная старуха с младенцем, не достигшим и года, который был привязан к ее спине наподобие рюкзака. В одной руке она держала бутылку, в другой - скрученную в виде воронки тряпицу. Отхлебнув глоток из бутылки, старуха втыкала в ее горлышко тряпицу и протягивала через плечо младенцу. Младенец радостно сосал тряпицу, заметно веселея на глазах.

И мне стало ясно, что даже иконы для детей вряд ли помогут охотничьему племени кетов – если их сейчас тысяча, то скоро их вообще не станет.

Вскоре после острова кетов мы прибыли в центральный пункт Енисейского судоходства - в океанский порт Игарка. Хоть Енисей еще не завершает в Игарке свой путь к Северному Ледовитому океану, ширина и глубина его там так велики, что в его порт свободно входят океанские пароходы. Мы увидели с полдюжины этих грязно-белых и оранжевых громадин, пришвартованных на необъятном рейде Игарского порта, все берега и молы которого заставлены многоэтажными поленницами корабельной сосны. А может, не сосны, а ели – ведь без ветвей и коры эти мощные стволы, похожие на огромные бруски сливочного масла,

полностью теряют свою индивидуальность.

Больше ничего мы не успели рассмотреть – нас поспешно погрузили в маленькие вагончики игрушечной железной дороги, связывающей Игарку с Норильском. Вагончики покрупней земля между Игаркой с Норильском не могла бы снести – они вместе с рельсами были бы потихоньку засосаны коварным покрытием вечной мерзлоты, которое летом выглядит как заросший вялой травой луг. Но это обманчивое впечатление – тридцать-сорок сантиметров земляного покрытия, прикрывающего вечные льды, оттаивают только на два коротких летних месяца, а в сентябре снова возвращаются в свое первозданное ледяное состояние.

В Норильске один из местных энтузиастов повел нас на экскурсию по этому странному призрачному городу, где люди упорно продолжают жить, как на Луне, - в совершенно искусственных условиях, противоречащих всем нормам человеческой природы. Он привел нас на пустынную каменную площадку, украшенную асимметрично разбросанными садовыми скамейками, и торжественно провозгласил:

«Это наш новый городской парк! Мы разбили его только год назад!»

Мы оглядели предложенный нашему вниманию голый пятачок и, не найдя в нем ничего интересного, вежливо поддержали его энтузиазм:

«Да, здорово! А когда деревья вырастут, станет совсем красиво».

Энтузиаст был задет нашими необдуманными словами:

«Но тут полно деревьев! Разве вы не видите?»

Мы повертели головами направо и налево и беспомощно развели руками – на наш взгляд в парке не было и намека на деревья.

«Да вы лучше поглядите, за тумбы и за скамейки – там всюду растут деревья, - настаивал обиженный нашей недальновидностью энтузиаст. – Вы даже не представляете, какого труда нам стоило их тут привить!»

Мы честно заглянули – действительно за тумбами и за скамейками прятались от глаз крошечные деревца разных пород, каждое высотой тридцать-сорок сантиметров.

«Но они еще вырастут?» - выразила общую робкую надежду одна из туристок.

«В нашем климате деревья не могут быть выше. Их корни быстро достигают уровня вечной мерзлоты, и дальше им расти некуда»…

Нельзя сказать, что кого-нибудь из нас огорчила разлука – мы надеялись, вечная, - с печальной столицей вечной мерзлоты. С

облегченным сердцем мы снова загрузились в игрушечные вагончики и пустились в обратный путь. Игарка тоже не слишком радовала глаз ни унылыми домишками, ни дощатыми тротуарами, настеленными над вязкой жижей оттаявшей на короткий срок вечной мерзлоты.

А главное, проклятой памятью о тысячах тысяч замученных и погребенных в ее недрах – сколько их было? Кто они были? Они канули в безвестность - над их могилами нет ни плит, ни крестов, да и могил самих тоже нет. Их останки поглотила земля и засосала вечная мерзлота.

Как странно – путешествие в Игарку было для меня встречей с прошлым, а путешествие в Таджикистан оказалось встречей с будущим. Потому я и припасла его на дессерт, к концу рассказа.

В Таджикистан меня отправили после третьего курса Литературного института для практического овладления тамошним языком, который представляет собой усеченный вариант великого языка фарси. Персы считают язык фарси персидским, а таджики - таджикским. Я же, я чудом попавши на переводческое отделение Литинститута, жадно изучала фарси, не отдавая предпочтения ни персам, ни таджикам.

Я мечтала постигнуть с помощью их общего языка загадку великой средневековой поэзии, включающей имена Рудаки, Фирдоуси, Руми, Саади, Хафиза и, главное, Омара Хайама. Мне, действительно, удалось многих из них прочесть в подлиннике и кое-что из их творчества перевести на русский, но со временем очарование их поэзии поблекло в моих глазах и сошло на нет.

Я даже не заметила, как это случилось. Но, когда по прошествии многих лет я задумала издавать сборник своих избранных переводов «Ворон-Воронель», я не сумела выбрать для него ни одного стихотворения перечисленных мною корифеев персидской поэзии, кроме Омара Хайама.

Только он один выдержал для меня испытание временем. Все остальные показались мне напыщенными, помпезными и малосодержательными. Их витиеватые словесные узоры, несомненно, предоставляют переводчику прекрасную возможность тренировать свои версификаторские способности, не предлагая, однако, никакой пищи для души, во всяком случае, для моей.

Но во времена моего ученичества подобные крамольные мысли еще не посещали мою юную голову. Я жила в постоянном предвкушении ожидающих меня поэтических откровений, в значительной степени приумноженных своей недоступностью для других, - простых смертных, не знающих языка фарси. И я погрузилась в изучение этого красивого, богатого языка,

построенного разумно, логично и экономно. После третьего курса меня отправили в Таджикистан для языковой практики.

Самолет мой вылетел вечером из аэропорта Внуково с тем, чтобы на рассвете прибыть в Сталинабад. Пассажиров было не слишком много, так что мне удалось пристроиться на двух креслах и задремать – в молодости так хорошо спится в любых условиях! Меня разбудил громкий голос пилота, который сообщил в мегафон, что, к сожалению, ему придется прервать рейс и совершить незапланированную посадку в Ташкенте. Но ждать придется недолго, заверил он нас, уже в семь утра нас отправят дальше, в Сталинабад. Хмурой полусонной толпой мы вывалились в переполненный зал ожидания, где нам сообщили, что рейс Ташкент-Сталинабад перенесен на одиннадцать часов утра.

Делать было нечего - промаявшись до половины одиннадцатого, я отправилась на летное поле искать свой самолет. Это было в те благословенные времена, когда еще никто не догадался взрывать и похищать самолеты, так что каждый желающий мог запросто гулять по летному полю. Самолет, вылетающий из Ташкента в Сталинабад, я опознала по огромной толпе, тревожно колышущейся перед его трапом. Было очевидно, что число желающих попасть этим рейсом в Сталинабад намного превышает количество мест. Начинался жаркий рукопашный бой. Неизвестно, чем бы он окончился для меня, - скорей всего, меня бы запросто оттолкнули, - но некто молодой и симпатичный из команды осторожно взял меня под локоть и, как нож сквозь масло, прошел со мной сквозь бурлящее человеческое месиво и провел вверх по трапу в салон самолета.

Как ни странно, там было безлюдно и тихо – очень немногие из беснующейся снаружи толпы смогли проникнуть внутрь. Когда салон заполнился до половины, двери задраили, и самолет взлетел в небо. Не пролетели мы и часа, как в микрофонах зазвучал голос пилота – к сожалению, сообщил он, рейс придется прервать и совершить незапланированную посадку в Самарканде. Немногие из летевших со мной вечерним рейсом из Москвы стали тревожно перешептываться – как, опять? Что бы это могло означать?

Но нашего разрешения никто не спрашивал – через четверть часа самолет приземлился на совершенно пустынном летном поле Самаркандского аэропорта. Стюардессы начали поспешно выгонять нас из самолета наружу. Стоя на верхней площадке трапа, я огляделась - ни вдали, ни вблизи от нас не было видно ни одного самолета, кроме нашего. К счастью, это было в те благословенные времена, когда еще никто не взрывал и не

похищал самолеты, а не то бы я здорово испугалась.

Мое внимание отвлек разгорающийся в салоне скандал. Кто-то, обладавший высоким пронзительным тенором, ни за что не соглашался выходить из самолета.

«Я, Вася Кнопкин, - кричал тенор, - лечу в Сталинабад, вот посмотри, в билете написано! И никакого Самарканда там нет! Хватит, я уже в Ташкенте насиделся!»

В ответ невнятно защебетали встревоженные голоса стюардесс. Из неразборчивого словесного потока несколько раз выпорхнуло узнаваемое выражение «делать уборку», которое окончательно вывело Васю Кнопкина из себя:

«На хрена мне сдалась ваша уборка? И так уже на полдня опоздали - я за уборку денег не платил!» - выкрикнул он почти колоратурным сопрано.

На этой высокой ноте в женский хор вплелись мужские голоса – резкие, командные, и хор разом смолк. Через несколько секунд Васю вынесли из салона на руках, оттеснив меня к перилам, снесли вниз по трапу и поставили на асфальт. Он рванулся было обратно, но, быстро смирился, осознав превосходящие силы противника. А может, не потому что осознал, а потому что иссяк, кто его знает.

Ведь он, бедняга, не предполагал, что его приключения только начинаются.

Два часа ожидания на летном поле в Самарканде оказались тяжелее, чем ночь, проведенная на полу в зале ожидания Ташкентского аэропорта. Дело в том, что в Самарканде стояла настоящая жара среднеазиатского лета, многократно усугубленная соседством пышущего жаром самолета, полным отсутствием тени над головой и раскаленным асфальтом летного поля под ногами. Наконец, нас, коллективно сомлевших от жары, впустили в до блеска вымытый, и, как нам с пылу, с жару показалось, прохладный самолет. Пол в проходе выглядел так, будто по нему никогда не ступала нога человека. Иллюминаторы сверкали неземной чистотой, за иллюминаторами плавилось от зноя белесое небо, потерявшее цвет в слишком ярком солнечном свете. Мы плюхнулись на свои места, распрямили затекшие от двухчасового стояния ноги и коллективно расслабились.

«Летим, наконец?» – спросил кто-то.

Как бы отвечая на его вопрос, в дальнем конце пустынного летного поля появилось нечто, напоминающее свадебный кортеж. Впереди летела стайка мотоциклов с милиционерами в седлах, за мотоциклами скользили три сверкающие черным лаком «Чайки», за «Чайками» следовало с полдюжины добротных «Волг» и «Побед» благородных пепельных и бежевых тонов.

Затаив дыхание, мы прильнули к иллюминаторам. Сделав эффектный лихой вираж под хвостом самолета, кортеж резко остановился перед самым трапом. Из «Побед» выскочили торопливые люди в тюбетейках и бросились отворять двери «Чаек». Зато пассажиры «Чаек» в добротных, мало соответствующих погоде пиджаках никуда не спешили - они медленно выходили из машин, в первую очередь соблюдая достоинство, насмерть запечатленное в их осанке и в выражении их коричневых широкоскулых лиц.

Вдруг задняя дверь одной «Чайки» распахнулась изнутри, и оттуда, расталкивая тех, кто уже вышел и норовил открыть перед ним дверь, выскочил поджарый, жилистый старик с жабьим лицом, в белой пионерской панамке, в цветастых шортах и в сандалиях на босу ногу. Спружинив пятками на асфальте, он круто развернулся, сунул руку вглубь автомобиля, и быстро отступил назад, выдернув оттуда как две капли воды похожую на него жилистую блондинку в цветастых шортах и в сандалиях на босу ногу, только без панамки. Когда они оказались рядом, выяснилось, что блондинка выше своего спутника на две головы, причем волосы на одной из них крашены пергидролем.

Старик в панамке громко крикнул что-то по-русски, и мотоциклисты, спешившись, бросились открывать багажники всех трех «Чаек», выбрасывая оттуда на землю груду невиданных пестрых чемоданов и огромных сумок подстать цветастым шортам их хозяев. Крашеная блондинка начала, заламывая пальцы, пересчитывать свой багаж.

Первый раз она, по-видимому, чего-то не досчиталась и стремительно застрекотала по-английски, на что старик с жабьим лицом ответил ей очень похожей по интонации тирадой, а потом опять крикнул что-то по-русски, вынудив мотоциклистов наново обыскать все три багажника. В результате в одном из них был обнаружен небольшой саквояжик с металлической ручкой, после чего началась погрузка иноземного багажа в брюхо самолета.

Несмотря на жару, широкоскулые деятели в тюбетейках затеяли торжественную церемонию прощания, но команда самолета не дала нам насладиться этим зрелищем. Она поднялись в салон и потребовала, чтобы мы все, занимавшие по пути из Ташкента передние места, пересели назад. Обалдевшие от жары и бессонной ночи, мы покорно двинулись к указанным местам, - все, кроме Васи Кнопкина. Вася же опять вытащил из кармана свой билет:

«Вот тут написано: Кнопкин Василий, место номер шесть, - пронзительным тенором прочел он. – Можете прочитать. Зачем я буду уходить со своего законного места?»

«Это очень важный иностранец, - пролепетала одна из стюардесс. - его нужно посадить впереди».

«А я – советский гражданин Василий Кнопкин. Чем этот иностранец важней меня? – поинтересовался Вася. – Я тоже хочу сидеть впереди, тем более в билете написано «место номер шесть». А ваш иностранец, если хочет, может сесть рядом со мной, я не заразный».

После этого заявления Вася начал демонстративно пристегиваться. К этому моменту церемония за окном завершилась, и группа людей, включающая знатных иностранцев, двинулась к трапу, прощально помахивая остающимся. Тогда, не теряя времени на лишние разговоры, два дюжих мужика в летной форме быстро скрутили Васю, так и не дав ему пристегнуться, и пронесли по проходу к одному из свободных мест в хвосте самолета. Вася попробовал было брыкаться, но его крепко прижали и принудительно пристегнули – как раз к моменту появления в салоне двух иноземных фигур в цветастых шортах и в сандалиях на босу ногу.

Стюардессы бросились рассаживать дорогих гостей, но тут снова произошла запинка. Старик с жабьим лицом шепнул что-то на ухо стоявшей с ним рядом миловидной брюнетке, и она вежливо обратилась к стюардессам:

«Господин Гарриман не любит сидеть в передней части самолета. Нельзя ли предоставить ему место в хвостовой?»

Стюардессы захлопотали, проворно пересаживая пассажиров на их прежние места. Все шло гладко, пока не подошла очередь Васи Кнопкина.

«С какой стати я буду бегать взад-вперед? – возмущенно завопил он, не поднимаясь с кресла. – Я вас не просил сажать меня сюда! Вы меня впихнули сюда насильно, и я добровольно отсюда не уйду!»

На этот раз никто не стал тратить время на выяснение отношений с Васей – его опять привычно скрутили и перенесли на руках на его законное место номер шесть, где его опять крепко прижали и пристегнули. После чего остальные быстро расселись, и самолет, наконец, взлетел. Все были рады завершить поскорей этот чрезмерно затянувшийся полет.

Мы летели вдоль какого-то необычайно живописного ущелья – ведь это происходило до эры реактивных самолетов, стремительно мчащихся сквозь пространство на большой высоте. Так что наш воздушный извозчик не слишком быстро скользил в узком извилистом коридоре, образованном отвесными стенами ущелья, временами почти касаясь этих стен гораздо ниже их зубчатых снежных вершин. Все пассажиры, как знатные, так и

незнатные, прильнули к иллюминаторам, следя за открывающейся их взорам захватывающей картиной, на которой были ясно видны все фазы смены пейзажа, происходящие при переходе от одной высоты к другой.

И тут прямо над головой господина Гарримана возник Вася Кнопкин. Чуть покачиваясь в такт неровному скольжению самолета над воздушными ямами, он, не говоря ни слова, протянул руку и начал шарить по креслу за спиной американца. Все пассажиры, как по команде, оторвались от зрелища за окном и, парализованные удивлением, уставились на Васю, не понимая, чего он хочет. Через секунду, вырвавшись из оцепенения, на него пружинисто налетела стюардесса:

«В чем дело? Чего вы там шарите, Кнопкин?»

Волновалась она напрасно: похоже, Вася Кнопкин уже потерял весь свой боевой запал. Смущенно улыбаясь, он пробормотал:

«Я фуражечку свою ищу. Она, наверно, между кресел провалилась».

И с торжеством вытащил из-за спины Гарримана слегка помятую кепку, которая и впрямь застряла между кресел.

Еще через час наш самолет, чистый, как слеза ребенка, приземлился в Сталинабаде. У трапа была воздвигнута переносная трибуна, на которой с цветами в руках возносилось к небу все правительство Таджикской Советской Социалистической Республики. Когда мы начали спускаться по трапу, грянула громкая музыка - это выстроившийся рядом с трибуной духовой оркестр вносил свою лепту в торжественную встречу.

Назавтра в местных газетах появилось сообщение, что в Таджикистан с дружеским визитом прибыл бывший посол США в СССР Авэрел Гарриман.

О нас с Васей Кнопкиным ни в одной газете не было ни слова.

Но это не отменило факта нашего прибытия в Таджикистан, во всяком случае, моего. Я, к сожалению, не знаю, что случилось с Васей после всех его выходок в самолете, доставившем правительству Таджикской ССР господина Гарримана в цветастых шортах и в пионерской панамке. Но я знаю, что случилось со мной.

Я стала очарованной пленницей ослепительно белого Сталинабада, ныне переименованного в Душанбе, затопленного прозрачным воздухом, который врывался из многочисленных ущелий сомкнувшегося высоко над городом горного кольца. Однако побродив недельку по его тенистым, журчащим арыками улицам, я почувствовала, что с языковой практикой дело обстоит плохо. По сути, по-таджикски мне разговаривать было не с кем,

так как круг моих новых знакомых свелся к нескольким русским интеллигентам, зачастую еврейского происхождения, которые денно и нощно крутили бюрократические колесики республики, разгоняя таким образом ее склонную к восточному застою кровь. Я начала подумывать о бегстве куда-нибудь подальше, где никто не говорит по-русски.

Многочисленные русскоязычные советчики с удовольствием помогли мне выбрать маршрут - по их словам, стоило съездить в районный центр Гиссар, где еще сохранилась древняя персидско-таджикская традиция, и в экзотические джунгли вокруг Тигровой Балки. Тигровая Балка находилась на самом юге Таджикистана, - там, где Пяндж, сливаясь с Вахшем, образует Аму-Дарью. От одного звучания этих слов у меня начиналось романтическое головокружение, и хотелось немедленно тронуться в путь.

Единственным препятствием были деньги, вернее, полное их отсутствие. На свои скромные «командировочные» я едва-едва могла прожить впроголодь, в основном, ходя по вечерам в гости, где меня кормили ужином. В гости я ходила, а не ездила, как бы далеко это ни было, потому что не разрешала себе потратиться на автобусный билет. Выходило, что заманчивые поездки по таджикской глубинке были мне не по карману.

Сперва я попыталась что-нибудь заработать, написав несколько статеек в местную газету. Но из этого ничего не вышло – надо мной поиздевались и ничего не заплатили. Я до сих пор уверена, что меня намеренно проучили, чтобы я не зазнавалась, – дескать, пускай эта столичная штучка не воображает, будто она сходу способна вскочить в то кресло, к которому мы столько лет ползли, сбивая в кровь коленки.

И тут мои мудрые русско-еврейские советчики придумали остроумный ход конем: а почему бы мне, как будущему переводчику, не попросить денег у местного союза писателей на благородное дело освоения таджикского языка? Я быстро написала нужное заявление, и мне устроили встречу с самим председателем союза, легендарным Мирзо Турсун-Заде. Чем он, собственно, был легендарен, я толком так и не узнала, - разве, что той ходящей по лит-салонам легендой, будто все его поэмы при полном отсутствии оригиналов сочинил мой уважаемый мэтр, Семен Израилевич Липкин, не получивший потом ни гроша из присужденной за эти поэмы Государственной премии?

Мне повезло: легендарный ли, или мифический, Мирзо Турсун-Заде согласился меня принять – не без протекции, конечно, - и меня с трепетом ввели в его сильно затененный шторами кабинет. В правом дальнем углу кабинета стоял роскошный письменный стол полированного дерева, над которым

едва-едва возвышался низкорослый, зато очень объемистый, всемогущий председатель. Про него без преувеличения можно было сказать, что он поперек себя шире: щеки у него по ширине были вровень с плечами, плечи вровень со столом, все остальное было скрыто от посторонних глаз мощными тумбами стола.

Великий человек молча выслушал мой сбивчивый лепет на его родном языке – я заранее заготовила свою речь, с помощью словаря разукрасив ее идиоматическими восторгами по поводу таджикского языка и таджикской поэзии. Он по-прежнему продолжал молчать, когда я произнесла последнее слово своей речи и застыла, с трудом переводя дыхание. Сердце мое учащенно билось – почему он молчит? Может, он не понял, чего я от него хочу? А хотела я тридцать рублей на дорожные расходы – для меня это была большая сумма, так как моя ежемесячная стипендия не доходила и до двадцати пяти.

Я краем глаза зыркнула на сопровождавшего меня доброжелателя, специалиста по капризам великого человека – может быть, надо чего-нибудь еще добавить? Но он, не дрогув ни одним мускулом в ответ на мой умоляющий взгляд, тоже молчал, чуть склонив голову. Время текло мучительно медленно. Наконец через бесконечно долгий час – или это целый день прошел в молчании? – председатель, не шевельнув губами, произнес:

«Ман все равно».

После чего мой сопровождающий цепко ухватил меня за локоть и ловко вытолкнул из председательского кабинета, а потом, предостерегающе приложив палец к губам, так же молча поволок меня по коридору прочь от немедленно закрывшейся за нами двери. Когда мы вышли из зашторенного союза писателей на залитую солнцем улицу, он, наконец, произнес первые слова:

«Поздравляю, он дал вам деньги»,

«Откуда вы знаете? – не поверила я. – Что он сказал? На каком языке?»

«На таджикском. Так по-таджикски говорят, если не возражают».

Это было выше моего понимания, но деньги я получила, - целых тридцать рублей! - и даже довольно быстро, без лишней бюрократической волокиты. Первым делом я помчалась в Курган-Тюбе, откуда шел прямой, как мне по наивности казалось, путь в Тигровую Балку. Географически путь, быть может, был и прямой, но бюрократически он оказался непроходимым. Как выяснилось на месте, Тигровая Балка была на самой границе с Афганистаном, и туда не впускали без специального пропуска.

За пропуском мне пришлось отправиться в пограничную

милицию, которая приютилась в какой-то отдаленной улочке. Пока я ее нашла, я чуть не потеряла сознание от жары – ходить по выжженным солнцем улицам Курган-Тюбе было вовсе не так приятно, как по продутым сквозняками улицам Сталинабада. Но главная обида состояла в том, что муки мои были напрасны – пропуска в Тигровую Балку мне не дали. Крепкоскулый начальник отдела пропусков внимательно выслушал меня и еще более внимательно осмотрел.

«С кем поедешь? - спросил он. – Попутчики есть?»

Я замялась, так как никаких попутчиков у меня не было: «Одна поеду».

«Одна поедешь, да? В Тигровую Балку? Интересно получается. Хорошая молодая девушка одна поедет в Тигровую Балку – но назад не вернется».

«Почему не вернется?» - не поняла я.

«Потому что, когда хорошая молодая девушка одна едет в Тигровую Балку, она никогда назад не возвращается. Пропуска не дам», - отрубил начальник и указал рукой на дверь, давая понять, что разговор окончен.

Я начала лепетать что-то по-таджикски, объясняя, как мне важна языковая практика, но он уже отключился от меня и стал кричать что-то в телефонную трубку. Я повернулась и пошла прочь, глотая по дороге слезы разочарования. Делать в знойном Курган-Тюбе мне было нечего. Я с трудом доплелась до автобусной станции и купила билет в Гиссар.

Зато поездка в Гиссар полностью скомпенсировала мою курган-тюбинскую неудачу. Не говоря уже о самом городке, который оказался именно таким, какие мы изучали на лекциях по этнографии Таджикистана, я попала там прямо в яблочко – на следующий день после моего приезда начинался мусульманский праздник Курбан. О том, что Курбан начнется именно завтра, рассказала мне местная учительница, Джамиля, у которой я, загодя заручившись рекомендательным письмом от одной сталинабадской поэтессы, остановилась на ночлег.

Это письмо обеспечило мне не только гостеприимный приют, но также послужило пропуском в настоящий таджикский деревенский дом, - иначе мне вовек бы его не увидеть! Проходя от автобуса по извилистым, окаймленным арыками улочкам Гиссара, я тщетно пыталась себе представить, как выглядит таинственная, полностью огражденная от внешнего мира жизнь внутри этих глухих стен. Каждая улица выглядела, как глубокое ущелье, с двух сторон стиснутое слепыми глинобитными стенами - ни в одном из ее домов не было выходящих на улицу окон. Что они там делали, в этих домах? Никто никогда не выглядывал

оттуда наружу, никто не смел заглянуть внутрь.

Я постучалась в ворота, мне открыла сама Джамиля. Я протянула ей письмо, она мельком глянула на подпись и, улыбнувшись, отступила от порога, давая мне дорогу. Я вошла и обомлела – после пыльного ада раскаленной послеполуденным солнцем улицы я оказалась в раю. По стенам вились виноградные лозы, образуя в углах тенистые беседки, вдоль струящегося поперек двора большого арыка пестрели узорчатые ковры цветов. Из одной беседки сквозь кружево виноградных листьев на меня с любопытством уставились три юные гурии в возрасте от семи до двенадцати лет – дочери Джамили.

Я вынула из сумки привезенную еще из Москвы коробку конфет и приступила к долгожданной языковой практике. Девочки больше стеснялись, чем говорили, зато Джамиля, усадив меня на коврик в тени большого дерева, поставила на низенький столик две пиалы и чайник, и мы окунулись в увлекательную беседу обо всем на свете. Из всех обсужденных нами в тот вечер тем в моей памяти остались две. Одна – о том, чем целые дни занимаются таджикские женщины в тенистой полутьме своих наглухо закупоренных домов. Оказывается, завершив свои домашние хозяйственные дела, они собираются небольшими группками в доме одной из них и, попивая душистый чай из пиал, вышивают халаты и тюбетейки своих мужей, а то и на продажу. И при этом сосредоточенно разговаривают. Спрашивается, о чем? А о том самом – старшие подробно делятся с младшими разными хитрыми способами, какими можно ублажить мужчину в постели. А младшие внимают и заучивают детали. Им и книг по эротическому воспитанию не надо.

Другая тема - о завтрашнем празднике, на который в Гиссар съезжаются верующие мусульмане со всей Гиссарской долины, потому что раньше здесь практически была столица. От столицы остались развалины древней крепости и огромная базарная площадь, куда когда-то свозили товары из всей восточной Бухары, - так назывались земли, завоеванные у восточных соседей штыками русской армии.

Назавтра я встала с утра пораньше и отправилась на базарную площадь. Шум стоял невообразимый, потому что народу, действительно, съехалось видимо-невидимо – на автобусах, на машинах, на телегах, на ослах и на верблюдах. Не говоря уже о тех, что пришли пешком. Все мужчины были одеты в некое подобие униформы – в густо-синие чапаны, слегка напоминающие старо-русские кафтаны. На головах у всех были вышитые тюбетейки. Сначала они челночно сновали по площади или стояли мелкими группами непрерывно сменяющегося

состава, а я наблюдала за ними, затаившись у входа в старинное медрессе.

Потом раздался какой-то музыкальный звук, и неорганизованное броуновское движение сразу обрело форму – синие чапаны начали сноровисто выстраиваться в ровные шеренги, каждая длиной в пару сотен голов в тюбетейках. А может, и больше, - сосчитать их было непросто, но ряды их уходили так далеко, что отдаленные головы казались меньше размером, чем ближние. Они быстро выстроились и затихли. Над огромной площадью повисла почти бездыханная тишина, только журчала вода в арыках, да где-то в отдалении пронзительно взревывали ишаки. Молчание прервала почти столь же пронзительная мелодекламация муллы, временами переходящая в полупение.

Многотысячные синие ряды стояли недвижно, словно вытесанные из камня. И вдруг голос муллы взлетел еще выше, напоминая всхлип музыкальной пилы – и толпа на одном дыхании ахнула «Алла!». И тут же одним слаженным движением сотни рядов в тюбетейках упали на колени и, высоко задрав задницы в синем, ударились головами о хорошо утоптанную землю базарной площади. И застыли.

Я тоже застыла. Далеко-далеко уходили направо и налево одинаковые коленнопреклоненные ряды воинов ислама, высоко над площадью поднимался острый запах их сильно разогретых на беспощадном средне-азиатском солнце тел, упакованных в плотные чапаны.

Такого зрелища я не видела больше никогда, хоть уже тридцать лет живу в Израиле, где арабы регулярно справляют и Курбан, и Рамадан. Наверное, у нас это выглядит не менее впечатляюще, но меня никто не пустит на это поглядеть.

И потому праздник Курбан, подсмотренный мною из-за полуприкрытой двери медрессе, остался в моей памяти воплощением сокрушительной силы ислама, не знающей ни сомнений, ни индивидуалистических метаний. Один короткий вскрик «Алла!» - и тысячи воинов ислама грохаются лбами о затоптанную многими поколениями землю, высоко вздымая к небу обтянутые синими чапанами зады.

ОКНО В ЕВРОПУ

Три долгих года после отказа в просьбе уехать в Израиль наша семья находилась в состоянии напряженной борьбы с властями. Чтобы выжить, мой муж, профессор Александр Воронель, придумал для себя два поля деятельности, способных в какой-то мере удовлетворить духовные интересы небольшой группы страдальцев, выброшенных из нормальной жизни безжалостной системой. Во-первых, он создал научный семинар «вне официальных рамок», в котором участвовали изгнанные с работы ученые разных профессий, во-вторых принялся за издание псевдо-научного этнографического журнала, получившего скучное, зато безобидное имя «Евреи в СССР».

Эти два неподсудных начинания стали с июня 1972 года отправной точкой нашей новой жизни. Научный семинар Воронель собирал каждое воскресенье в нашей квартире на улице Народного Ополчения. Все эти годы он действительно оставался строго научным, но стал весьма многолюдным. Первой жертвой популярности семинара пала я – ведь приходило человек тридцать-сорок, иногда их число добиралось до пятидесяти. Они затаптывали пол до черноты, и каждый чего-нибудь требовал, кто воды, кто кофе, кто внимания. Я уже не говорю о туалете, который сходу превращался в общественный, так что его приходилось потом долго драить и отмывать.

С кофе я покончила быстро, приспособившись удирать из дому за пять минут до прихода первого гостя. С туалетом пришлось смириться, а пол от загрязнения я по мере сил спасала, строго-настрого запретив заходить в комнаты в уличной обуви. В результате, все постоянные члены семинара принесли к нам в дом свои тапочки, для которых пришлось выделить в коридоре специальный ящик, весьма напоминающий лоток старьевщика.

С еженедельным нашествием «семинаристов» можно было бы смириться, если бы все они, - в основном профессионалы высокого класса, иначе их бы не задерживали в СССР, - по окончании семинара мирно расходились по домам. Однако многие из них, внезапно выброшенные из привычной жизни в пустоту отщепенчества, не для того съезжались со всех концов Москвы в нашу квартиру, в которую загодя привезли свои комнатные туфли. Воспринимая эти туфли как постоянный пропуск, они разбредались по нашим тесным комнатушкам и заводили долгие дискуссии обо всем на свете.

В начале 1974 года Воронель задумал провести в нашей

квартире не простой семинар, а международный. Как только шесть нобелевских лауреатов-физиков заявили о своем желании принять участие в семинаре, профессор Э. Любошиц, живший уже в Израиле, собрал в Иерусалиме пресс-конференцию и официально назначил дату семинара на 3 июля 1974 года. Дата эта, выбранная исходя из удобства иностранных гостей, случайно совпала с датой приезда в Москву тогдашнего президента США Ричарда Никсона, назначенной позже.

После заявления профессора Любошица, опубликованного во всех крупнейших газетах мира и переданного по радио всеми «голосами», КГБ повел на нас решительное наступление на всех фронтах. Эмиля Любошица, переходившего на зеленый свет иерусалимскую улицу, сбил грузовик, немедленно удравший, оставив Любошица без сознания в придорожных кустах.

Вскоре после этого у нас появился ленинградский писатель Володя Марамзин, который утверждал, что он сбежал из-под надзора КГБ, чтобы повидать нас. Он действительно жил тогда под надзором, - в Ленинграде шла подготовка процесса по делу группы интеллигентов, собравших для печати сборник стихов И. Бродского. КГБ выпустило Марамзина к нам не случайно: с тех пор главная линия атаки на нашу семью пошла по делу Марамзина. Нас много раз арестовывали, обыскивали и допрашивали ленинградские следователи, пытающиеся увязать наш журнал «Евреи в СССР» в один антисоветский узел с подрывной деятельностью группы Марамзина.

Никогда не забуду свое первое осознание «их» пугающего присутствия. Мы провели вечер у друзей, редких обладателей телефона, дожидаясь телефонного разговора с Израилем. Закончив разговор, мы направились к метро. Было поздно и темно. Вдруг где-то зафыркал заведенный мотор автомобиля, который начал приближаться, не нарушая темноту светом фар. Я оглянулась и увидела черную массу автомобиля, который полз по мостовой рядом с нами со скоростью наших шагов. Нас проводили до входа в метро и снова встретили у выхода на нашей станции, откуда так же, ползком, сопроводили до самого подъезда.

К настоящему действу власти приступили на следующей неделе - среди наших соратников начались аресты. Ночью я выглянула в окно – на асфальтовой полоске, где стоянка была строго запрещена, темнел силуэт припаркованнооого автомобиля.

Они пришли за Воронелем наутро. Я объявила им, не отворяя дверь, что мужа нет дома. Они, точно зная, что он дома, попытались настаивать, но я не уступила, и они, потоптавшись под дверью, ушли.

Мы занялись своими делами, притворяясь, будто ничего не произошло. Часа через два муж объявил, что он идет по делам. Я сказала:

«Ты подожди, а я выйду осмотрюсь».

Долго осматриваться не пришлось – серая «Волга» стояла прямо у подъезда, где парковаться было запрещено. Из каждого ее открытого окна торчали локти, которые при виде меня поспешно втянулись внутрь. Я развернулась и помчалась по лестнице вверх, а вслед за мной затопали быстрые ноги. Я представила, как я отпираю дверь, а сильные руки толкают меня в спину и они врываются в квартиру у меня на плечах. Ужаснувшись, я опять развернулась, растолкала своих преследователей, и, прыгая через две ступеньки, выбежала на улицу.

«Волга» за мной не поехала, и я поспешила к метро, обдумывая на ходу, как дать знать Воронелю, что они ждут его под дверью – ведь телефона у нас не было. Первым делом я позвонила из телефона-автомата Игорю Губерману, и попросила поехать задержать Александра.

Оказавшись предоставленными самим себе, эти двое и задумали осуществить идею бегства из окна на связанных простынях. Простыни они связали так прочно, что потом пришлось их так и выбросить связанными.

При каждом вывешивании простынной веревки из окна дежурные кагебешники выскакивали из машины и выстраивались под окнами. И с другой стороны дома тоже обнаружилась «Волга» с четырьмя седоками, которые при виде веревки вели себя точно так же. В конце концов, Воронель и Губерман отчаялись и заснули. Это было большой моей удачей – я не сомневаюсь, что спускаясь ночью на веревке с третьего этажа по отвесной стене, мой дорогой профессор обязательно сломал бы себе или руку, или ногу, или шею.

Наутро Губерман отправился проверить, куда делись машины. Выйдя на улицу, он убедился, что в поле зрения подозрительных «Волг» нет, и помчался наверх с триумфальным криком: «Они уехали!».

Не успел Воронель сделать и двух шагов по направлению к метро, как его окружила стайка молодых людей при пиджаках и галстуках. Опознав их, Воронель вбежал в овощной магазин и стал в очередь. Двое из молодых людей в галстуках последовали за ним и тоже стали в очередь. Воронель понял безнадежность стояния в очереди и вышел из магазина, молодые люди в галстуках немедленно потеряли интерес к овощам, и вышли вслед за ним. Как только Воронель переступил порог магазина, на него, прямо по тротуару, задним ходом помчалась серая «Волга»,

резко притормозила рядом, и кто-то распахнул изнутри заднюю дверцу. Молодые люди с двух сторон уперлись Воронелю в спину и стали заталкивать его в машину. Тут бы ему и смириться, но он решил сопротивляться, уперся руками в раму автомобиля и начал лягать своих похитителей.

Похитители не растерялись: они удвоили усилия, и втолкнули Воронеля в «Волгу». И доставили в приемную КГБ, где его, запугивая, продержали целый день. От него требовали, чтобы он подписал протокол об антисоветском характере своей деятельности, а он отказывался.

Тем временем я вышла на связь с иностранными корреспондентами, которые в те годы охотно паслись на ниве еврейского движения. Так что уже через пару часов об аресте Воронеля говорили все «русские голоса» зарубежных радиостанций.

К вечеру Воронеля отпустили, и он приехал к друзьям, у которых собрались члены нашей группы. Часов после одиннадцати мы вызвали такси. Когда такси подъехало к подъезду, там уже стояли две серых «Волги», все восемь седоков которых выстроились в два ряда по четыре вдоль асфальтированной дорожки, ведущей от дома к тротуару.

Подойдя к такси, мы увидели перекошенное от страха лицо таксиста, который стал дрожащим голосом спрашивать, что мы ИМ сделали. У него был повод волноваться – на каждом светофоре обе «Волги» стискивали нас с двух сторон, а их пассажиры со злобными ухмылками разглядывали нас, высунувшись из окон. Поэтому таксист попросил нас расплатиться заранее и умчался прочь.

Мы остались с ними в темноте. Я была вне себя от ужаса, а Воронель всячески изображал бесстрашие. Мы вошли в парадное, где царила полная тьма, хоть обычно в советских подъездах всегда горел свет. Они - все восемь - вошли, опередив нас, и выстроились полукругом, загораживая вход на лестницу.

Они стояли молча в ряд, мы тоже, у одного из них, в кепочке, в углу рта дымилась сигаретка. «Ну все, сейчас забьют насмерть» - обречено подумала я.

Я не выдержала первая и выкрикнула:

«Что вам надо?».

Тот, в кепочке, перекатил сигарету из одного угла рта в другой:

«Слушай, профессор, если ты еще раз попробуешь играть с нами в такие игры, мы тебе руки-ноги переломаем».

Как только он заговорил, меня словно отпустило: я почувствовала – приказа нас бить «им» пока еще не дали, - и,

рассекая их строй плечом, стала подталкивать Воронеля к лестнице. Но в него прочно въелся жестокий опыт детской исправительной колонии, которую справедливо приравнивают к самому страшному кругу ада. Ощутив ситуацию сходной с лагерной, он сказал наглой морде в кепочке:

«Не смейте обращаться ко мне на «ты»!

Если бы не драматизм этой западни в темном подъезде, я бы расхохоталась, но мне было не до смеха. А Воронель не унимался:

«А вас не накажут, если вы мне руки-ноги переломаете?»

На что главарь в кепочке ответил, по-прежнему не переходя на «вы»:

«Может, и накажут, но у тебя-то руки-ноги уже будут переломаны».С этого дня пошла новая, вскоре ставшая привычной, рутина с постоянными арестами. Обычно к концу дня Воронеля отпускали, так и не добившись от него никаких уступок. Иностранные «голоса» надрывались по всем радиостанциям, бесконечно повторяя ставшую уже привычной формулу «Профессор Александр Воронель...».

Сотрудники КГБ не только нашпиговали нашу квартиру микрофонами, но и входили туда, когда им было угодно. Однажды, возвратясь после многочасового отсутствия, мы обнаружили на зажженной газовой конфорке кипящий чайник, полный до верха. Я даже не успела возмутиться, как явился один из наших ангелов-хранителей, участковый милиционер Коля. Я его упрекнула:

«Если уж вы входите в нашу квартиру, когда хотите, то хоть газ выключайте перед уходом».

Коля поглядел на кипящий чайник и начал поспешно оправдываться:

«Это не мы, это Эс-Эс-овцы!».

Наши личные Эс-Эс-овцы Володя и Вадя, окружили нас таким вниманием, будто в их жизни не было никого дороже нас. Тем временем дата конференции приближалась. Воронеля в очередной раз потащили в КГБ, на встречу с их генералом. Генерал требовал, чтобы Воронель отказался от руководства семинаром и лег в больницу под предлогом инфаркта. «В противном случае...» - генерал прервал сам себя и значительно замолк.

Но не для того Воронель все это затевал, чтобы так просто сдаться, тем более, что от любезного приглашения в больницу КГБ с диагнозом «инфаркт» было недалеко до заключния «скончался от сердечной недостаточности».

После неудачной попытки вынудить Воронеля к уступкам аресты стали судорожными и бессистемными: по три-четыре раза

на дню. А как только отпустят, тут же посылают вслед машину и волокут обратно на Лубянку.

Я думаю, криминальные психологи КГБ разработали эту систему игры в кошки-мышки, чтобы измученная мышка уже мечтала о том дне, когда кошка, наконец, ее сожрет.

Не могу сказать этого о себе: когда двадцать пятого июня, Воронеля в очередной раз арестовали и больше не отпустили, я вовсе не испытала облегчения. Лишенные привычного удовольствия играть в кошки-мышки с Воронелем, Володя и Вадя вскоре снова оживились, решив продолжить игру со мной.

Кампанию против меня начал наш придворный милиционер Коля – он вперся в квартиру без приглашения и приступил к дружеской беседе:

«Вот вы, - произнес он почти с нежностью, пожирая меня любящими глазами кошки, зажавшей в когтях мышку, - женщина молодая, а входите в подъезд без провожатых. А вдруг вас поджидает хулиган, который что угодно может с вами сделать? И мужа вашего нет дома, кто же вас защитит?».

«Вы что, Коля? - полюбопытствовала я, - хотите охранять меня, пока мужа нет?»

«Нет, охранять вас у меня нет возможности, - отклонил мое предложение Коля, слегка разжимая когти. - Но вам бы лучше временно пожить у каких-нибудь друзей».

Вот чего они хотят - выставить меня из квартиры, адрес которой разрекламирован по всему миру!

Сидеть в полной неизвестности в доме без телефона было невыносимо. И я отправилась в путь – без прямой цели, просто куда-нибудь, чтобы узнать новости. Не успела я завернуть за угол, как на меня с воем прямо по тротуару задним ходом помчалась машина. Прохожие шарахнулись в стороны, а я застыла на месте, как кролик перед удавом. Машина притормозила рядом со мной, дверца распахнулась, и я в мгновение ока очутилась в сером сумраке салона.

Двое молодых людей в пиджаках и галстуках стиснули меня плечами. Мы молча проследовали в какую-то контору, где меня поджидал мой личный Эс-Эсовец Володя. Хоть его рыхлое лицо ничем не напоминало твердое обличье участкового Коли, он смотрел на меня точно так же – взглядом кошки, любящей свою мышку.

Его речь свелась к тому же требованию, что и Колина, – чтобы я не смела возвращаться к себе домой, а не то мне будет хуже. Потом он вышел и оставил меня в одиночестве. В комнату время от времени входили какие-то люди, оглядывали меня с ног

до головы и снова уходили. Никто и не думал объяснять мне, зачем я там сижу и чего жду.

Через пару часов меня отпустили, хотя никто не позаботился даже сказать мне, куда меня завезли. Уже вечерело, и нужно было решать, куда податься ночевать.

Я оказалась на незнакомой станции метро и слегка сбилась с пути. И тут мне показалось, что за мной следят - при каждом моем ошибочном маневре какие-то люди спешили повторить мои ошибки. Тогда, чтобы проверить свои подозрения, я решила выйти из метро на станции «Охотный ряд» и пойти в ЦДЛ пешком по улице Герцена, время от времени садясь в троллейбус и тут же из него выходя. Я шла в ЦДЛ, потому что там под лестницей стояла тумбочка с безликим телефоном, из которого я могла бы позвонить корреспондентам иностранных газет. Не прошла я и двух кварталов, как мои подозрения превратились в уверенность. За мною шли, причем не вдвоем, не втроем и даже не вчетвером. Мне стало страшно – чего им от меня нужно? Дождаться, пока я войду в какой-нибудь подъезд, и там переломать мне руки-ноги? Идти дальше пешком не было смысла, и я вскочила в первый же подъехавший троллейбус.

Почти бегом дойдя до ЦДЛ, я предъявила привратнику красную книжечку Литфонда и с облегчением вскочила в прохладный вестибюль, наивно надеясь, что моих провожатых туда не впустят. Как бы не так - у них были свои книжечки, почище моей! Я прошла в ресторан, подсела к двум симпатизирующим мне секретаршам и заказала кофе. Мои «мальчики» вошли вслед за мной, сели за соседний столик и тоже заказали кофе - я взглядом указала на них своим приятельницам.

Пока я дрожащей рукой размешивала сахар в чашке, одна из секретарш успела шепнуть мне, что из подвального коридора, ведущего к уборным, есть выход в кухню, а из кухни можно через черный ход выскользнуть во двор.

Я допила кофе и вышла в вестибюль, двое из «мальчиков» за мной. Я вниз по лестнице, «мальчики» за мной», я – в женский туалет, они, секунду потоптавшись, - в мужской, тоже ведь люди, хоть и при исполнении служебных обязанностей. Теперь главное было – удрать до того, как они закончат свои процедуры в мужском туалете. Ведь про секретный проход из коридора в кухню им никто не успел сообщить. Опередив их, я юркнула в кухонную дверь, прошла сквозь строй шипящих сковородок и мусорных бачков и оказалась во дворе. Слева была редакция журнала «Дружба народов», справа – редакция журнала «Юность», а прямо по курсу – путь к свободе на улицу Воровского.

Там я быстро схватила такси и поехала к своей подруге Лине

Чаплиной в надежде, что за ее домом не следят, когда меня там нет. Лина вызвала по телефону Саню Даниэля, который отвез к Андрею Дмитриевичу Сахарову мое подробное письмо о происшедшем. Андрей Дмириевич немедленно передал мое сообщение в иностранную прессу и оно тут же было подхвачено всеми средствами массовой информации – в то время еврейская борьба за выезд из СССР была любимой темой либерального общества.

Возможно, все бы окончилось моей победой над всевидящим оком «Империи зла», но меня подвела жажда узнать последние новости. Наутро я позвонила из телефона-автомата нашему «связному», единственному из оставшихся на свободе соратников, у которого был телефон.

Услыхав мой голос, он обрадовался: «Все волнуются, куда ты пропала!». Не вдумываясь, откуда эти «все» успели узнать, что я пропала, я спросила, нет ли новостей от арестованных. Он ответил, что новости есть, но не для телефонного разговора. И стал настаивать на немедленной встрече, намекнув, что от этой встречи зависит судьба мужа. Я нехотя согласилась встретиться с ним в аптеке на улице Горького. А выйдя из аптеки, обнаружила, что мои верные мальчики опять со мной, только их гораздо больше. Я опять протащила их по улице Герцена в ЦДЛ, но моя попытка повторить вчерашний трюк не удалась – когда я отправилась в туалет, они заняли прочные позиции во всех точках коридора и лестницы.

Признав свою неудачу, я пересекла Садовое кольцо и побрела по Краснопресненскому валу, сама не зная, куда. Я страшно устала, и чувствовала себя затравленным зверем. Загонщики окружили меня плотным кольцом, но почему-то не спешили затолкать меня в машину, которая мирно следовала за нами, пренебрегая правилами уличного движения. Скорей всего они просто мстили мне за вчерашнее бегство – им, небось, здорово нагорело!

Я вошла в троллейбус, двое из них зашли за мной. Я проехала одну остановку, выпрыгнула почти на ходу и заскочила в первый попавшийся магазинчик, который оказался шляпным. Я стала мерить шляпы и провела за этим занятием около двух часов. Странно, но за все это время в магазин не вошла ни одна покупательница.

Когда запас шляп подходил к концу, с улицы вбежал один из мальчиков, блондин в зеленом пиджаке, которого я хорошо помнила. При виде моей персоны в кокетливой соломенной шляпке, украшенной розочками, он расплылся в такой лучезарной улыбке, будто встретил потерянную возлюбленную.

Представляю, как они там переволновались, воображая, что я опять сбежала через какой-нибудь секретный ход! Назло ему я купила эту соломенную шляпку, и мы вместе долго следили за тем, как ее укладывают в круглую коробку.

С коробкой в руке я вышла из магазина и двинулась дальше по улице, увлекая за собой небольшую свиту поклонников. Когда я добралась до перекрестка, они начали оттеснять меня с многолюдного Краснопресненского Вала в пустынный переулок, где уже поджидала знакомая «Волга». Дверца распахнулась, сильные руки толкнули меня в спину, и я оказалась лицом к лицу с Вадей, вторым моим ангелом-хранителем от Эс-Эс. Аристократическое лицо Вади лучилось приветливой улыбкой – можно было подумать, что он безмерно рад встрече со мной. Впрочем, может, так оно и было – ведь вчера я испортила ему удовольствие.

Он твердо поставил все точки над «и»: в тюрьму меня не посадят – благодаря его личному заступничеству. Домой возвращаться мне не стоит, все равно меня туда не пустят, и потому он намерен отвезти меня к моей подруге Дифе, чтобы я пожила у нее недельку.

А машина уже ехала к Малой Грузинской, до которой было рукой подать. Меня выпустили у подъезда, настрого наказав из дому не выходить, пока они не разрешат. Целую неделю безвылазно я томилась в чужой квартире под надзором бравых молодцев, стороживших меня в три смены по восемь человек, так что за сутки я обеспечивала рабочие места оперативной группе из 24 человек. В конце концов, соседи подали в домком жалобу, что возле дома толкутся неизвестные, которые загадили все кусты.

3-го июля, в день официального открытия международного семинара, я услышала по БиБиСи, что в квартире проф. Воронеля произошло ограбление со взломом и потому туда не впускают прибывших на семинар зарубежных ученых. Я нашла в телефонной книге номер коммутатора КГБ, и сказала дежурному:

«Моя фамилия – Воронель».

«А-а, здравствуйте!» – радостно отозвался дежурный.

«Немедленно дайте мне того, кто нами занимается!»

И мне без промедления дали моего ангела-хранителя Володю, который в ответ на мои упреки по поводу ограбления со взломом, утешил: «Зачем вам слушать вражеские голоса? Если мы в ваше отсутствие охраняем вашу квартиру, неужели с нею что-нибудь может случиться?»

Когда Воронеля, наконец, выпустили из Серпуховской тюрьмы, где он провел две недели без суда и приговора, мы вернулись домой. Володя и Вадя сдержали слово – они не

впустили никого из тех, кто приходил к нам за это время, они арестовывали всех еще на подходе.

В тюрьме с еврейскими активистами обращались неплохо. Немного помучили, не сообщая, насколько задержали, но в конце концов сознались, что на пятнадцать... Тут было намеренно сделана пауза, так что последующее «суток», а не «лет» были встречены всеобщим вздохом облегчения.

Первые несколько дней после несостоявшегося семинара мы прожили почти спокойно - наново привыкая к нормальной жизни. И даже принялись за подготовку следующего номера журнала «Евреи в СССР».

Но через шесть дней после выхода Воронеля из тюрьмы к нам явились с обыском. За время обыска у нас на кухне скопилась толпа зашедших на огонек приятелей, которых не выпускали до конца процедуры. Длилось это удовольствие почти сутки, и на рассвете незваные гости убрались, унося с собой два больших мешка с материалами журнала и черновиками моих пьес. Заодно они прихватили с собой единственный экземпляр статьи Вени Ерофеева «Василий Розанов глазами эксцентрика», которую я долго потом оплакивала, думая, что она исчезла навсегда. Однако через много лет статья возникла из небытия – возможно, не без помощи Вади или кого-то другого из его коллег.

ВЕНЕЦИЯ – НЕАПОЛЬ

Принять участие в Бьеннале ди Венеция 1977-го года меня пригласил член орг-комитета, профессор киноведения Антонин Лим. Увы, коротка человеческая память, и немногие теперь помнят его имя! А было время, когда оно было на устах всего цивилизованного мира – он был одним из авторов знаменитого письма «2000 слов», направленного чешской интеллигенцией своему правительству в разгар чешской весны 1968 года.

Авторам этого письма повезло – их не посадили за решетку и не сослали в Сибирь, их просто вышвырнули из Чехословакии на просторы свободного мира. Что было не так уж трагично, если, отбросив мысль о ностальгии, считать карьеру Антонина Лима удачной – сперва он стал профессором Нью-Йоркского Университета, а потом Лондонского.

Познакомились мы в Нью-Йорке – он пришел на мой спектакль в Интерарт Театре, после спектакля подошел ко мне с комплиментами, мы разговорились и нашли много общих тем. Лим был другом Милана Кундеры и Милоша Формана, так что я попала в хорошую компанию. Мы изредка встречались – то в Лондоне, куда он был приглашен преподавать, то в Париже, где он издавал многоязычный интеллектуальный журнал «Международное слово».

В результате я получила приглашение участвовать в работе Бьеннале ди Венеция сразу в трех секциях – литературной, театральной и киноведческой. Это означало три недели в Венеции на полном довольствии этого самого Бьеннале, о задачах и функциях которого я имела самое смутное представление. В благозвучном названии пригласившей меня организации золотыми буквами сияло для меня волшебное слово «Венеция», а остальное было как бы в тумане.

Могла ли в прошлой жизни я, бедная Золушка из провинции,

чужестранка даже в московских переулках, мечтать о трех неделях полного довольствия в окружении памятников архитектуры, каналов, мостиков, гондол и голубей на площади Святого Марка?

Счастье мое было усилено троекратно тем, что я, пользуясь своим могущественным знакомством, ловко втиснула в список приглашенных своего любимого мужа, Александра Воронеля, и своего любимого режиссера, Славу Чаплина. Оба они были несомненно вполне достойны принять участие в непостижимой для нас всех работе Бьеннале, но без моего настойчивого

заступничества их достоинства могли бы остаться незамеченными.

Поскольку жена Славы, моя подруга Лина Чаплина тоже приехала в Венецию вольнослушателем (то есть, за свой счет), мы десять дней бродили вдоль каналов, часами стояли на выгнутых мостиках над ними или пили вкуснейший в мире кофе в маленьких кафе на площади Святого Марка, наслаждаясь мыслью о том, что за тем столиком сиживал Хэммингуэй, а за этим Поль Элюар, а за остальными разные другие великие имена.

Венеция совершенно вскружила нам головы – стоял мягкий средиземноморский ноябрь, обрызганный мелким дождичком, обласканный неярким осенним солнцем. Отчитав заявленные нами доклады, мы изредка заглядывали в залы заседаний Бьеннале, не слишком утруждая себя слушанием докладов своих коллег. Самым интересным было общение в перерывах и за обильными завтраками, обедами и ужинами – ведь в Венецию съехались разбросанные по всем континентам сливки советского диссидентства.

Я не могу сейчас вспомнить, о чем я докладывала на трех секциях – литературы, театра и кино, - наверно, о чем-то в то время интересном и важном, а сегодня уже несущественном. Помню только, что Саша поразил аудиторию научной секции сообщением о заповеднике истинной свободы, царящей на семинарах в Институте теоретической физики. Там не было иерархии, не было преклонения перед авторитетами, там каждый мог смело и нелицеприятно высказать свое мнение о прослушанной научной работе, не боясь наказания и осуждения.

Помню, как в не слишком заполненном зале читал стихи Иосиф Бродский – он тогда еще не получил Нобелевскую премию и не превратился из человека в поэтический символ, поэтому зал был не только наполовину пуст, но вдобавок быстро пустел по ходу чтения. И желая задержать хоть часть присутствующих, Бродский читал с напором и надрывом, не вполне соответствующим его интеллектуально отточенным стихам.

Помню, как мы ввалились в переполненный зал, где было обещано выступление прославленного тогда композитора-авангардиста Валерия Арзуманова, недавно сбежавшего из СССР. Ходили туманные слухи, что он сбежал не столько из-за своего не совпадающего с властями авангардизма, сколько из-за нависающего над ним обвинения в гомосексуализме. Ярко освещенная сцена выглядела странно – там не было ни рояля, ни места для оркестра.

Оказалось, все эти атрибуты неавангардистской музыки были Арзуманову вовсе не нужны. Не успели мы занять чудом

оставшиеся свободные места, как из-за кулис к рампе выбежал упитанный человечек небольшого роста, плотно упакованный в полосатый трикотажный костюм, напоминающий мужские купальники двадцатых годов. Он пару раз довольно ловко перекувырнулся через голову и взвыл дурным голосом, как шакал в пустыне. Потом присел на корточки и, шлепая ладонями по полу, заверещал на высоких нотах – в горле у него забулькало, он повалился набок и покатился по сцене, кукарекая и гогоча. Честно сознаюсь, до конца мы эту комедию не досмотрели – ради такой авангардистской музыки не стоило пропускать неповторимое зрелище спускающихся на Венецию сумерек.

Помню, как мы с Александром Галичем долго гуляли по старинным узким улочкам, обсуждая сложности и радости новой для нас обоих эмигрантской жизни. Он очень волновался, как сложится его судьба в новых обстоятельствах, не подозревая, что волноваться ему уже незачем – ведь жить ему оставалось не больше месяца: он умер от таинственного несчастного случая 14 декабря того же года.

Помню, как в обеденный зал ворвались Синявские, и Марья сходу попыталась навести порядок, рассадив всех участников согласно ее, Марьиной, табели о рангах. Но ей это не удалось – строптивые участники не стали ее слушаться, так как уже успели сформировать свои мелкие содружества, основанные на симпатиях и антипатиях, а не на чужой табели о рангах.

В этих весьма приятных забавах три недели пролетели, как один день, и пришло время уезжать домой. Лина Чаплина, вооруженная своим честно оплаченным ею билетом, отбыла накануне в Цюрих, а я с Чаплиным и Воронелем отправилась наутро следующего дня в венецианский аэропорт. Мы помчались туда на роскошном быстроходном катере – день выдался солнечный, и лагуна, отделяющая город от длинной косы, на которой расположен аэропорт, сияла и светилась всеми оттенками голубого серебра.

Настроение у нас было отличное, и поэтому мы, не обратив внимания на странную безлюдность переполненного обычно аэропорта, никак не могли понять, что именно втолковывал нам по-итальянски щеголеватый кассир. А втолковывал он нам нечто сверх важное - оказывается, с сегодняшнего дня вся внутренняя авиация Италии вступила на путь забастовки с неограниченным сроком действия.

Из чего следовало, что ни сегодня, ни завтра, а может, и через неделю нам не удастся улететь в Рим, где нас ждал самолет на Тель-Авив – причем билеты наши, в отличие от забастовки, имели весьма ограниченный срок действия. Не говоря уже о том,

что с довольствия в нашем бывшем пятизвездочном отеле мы уже были сняты, а наличных денег у нас почти не осталось. Почему-то нам было особенно жалко огромную по нашим представлениям сумму, напрасно истраченную на оплату шикарного быстроходного катера. Ведь катер был не более, чем романтической блажью, он был нам вовсе не по карману и не по статусу, мы могли мирно прокатиться на народной ферровии, дымящей, гудящей, и медленно шлепающей от станции к станции.

Пригорюнившись, мы постарались вслушаться в быстрый итальянский щебет доброжелательного кассира, смысл которого постепенно доходил до нашего сознания. Оказывается, не все было потеряно – авиакомпания готова была вернуть нам деньги за билеты, и отправить нас в Рим по железной дороге. Пересчитав полученные деньги, мы воспрянули духом – их с лихвой хватало на обратный быстроходный катер, на железнодорожные билеты до Рима, и кое-что еще оставалось на неплохой итальянский ужин в приличном римском ресторане.

По прибытии на вокзальный перрон наше веселье было слегка пригашено открытием, что сидячие места в поезде уже все заняты, и стоячие тоже – похоже, авиационная забастовка привела на вокзал не только нас. Перспектива простоять восемь часов в битком набитом тамбуре нам не улыбалась, и мы заметались по перрону в поисках более удобного решения. И быстро его нашли – вагон первого класса был восхитительно пуст, а щедрая компенсация, полученная нами в аэропорту, вполне могла покрыть разницу в цене билетов.

Все, казалось, складывалось отлично, если не считать той мелочи, что в поезде не оказалось ни буфета, ни воды. Выходить на станциях мы не решались, поскольку не понимали итальянского бормотания вокзальных репродукторов и боялись опоздать. Первые пять шесть часов мы весело болтали на разные темы, в основном, про искусство, но к седьмому часу наши мысли невольно переключились на еду – мы стали с увлечением составлять разнообразные увлекательные меню грядущего римского ужина.

Через восемь часов после отбытия из Венеции поезд остановился на маленькой станции, нисколько не похожей на римский вокзал. Густые толпы пассажиров потекли мимо наших окон из вагонов второго класса. Мы поискали проводника – его не было и в помине. Толпы ушли, на перроне стало пусто, паровоз не подавал никаких признаков жизни, и мы заволновались. Выходить мы все же не решались, - черт знает, каковы намерения машиниста!

Саша занял удобную позицию у раскрытого окна и зычно спрашивал мелькающих изредка прохожих: «Рома?» - к сожалению, это было единственное слово, которое он мог произнести, в надежде быть понятым. Все прохожие дружно отвечали одно и то же: «Тибертина». Название это ничего нам не говорило, кроме того, что станция не была Римом.

Минут через двадцать поезд медленно тронулся, и мы вздохнули с облегчением – еще десять-пятнадцать минут, и мы окажемся в Риме. Прошло двадцать минут, потом сорок, потом час, а поезд все не останавливался. За окном совершенно стемнело, лишь изредка мелькали бледные фонари станций, мимо которых наш поезд проносился на полной скорости, и мы начали беспокоиться – куда он нас везет? Я, как самая смелая, вышла из купе в коридор, там никого не было. Я начала заглядывать в остальные купе первого класса – они были девственно пусты, другие вагоны тоже. Все мои попытки отыскать проводника закончились неудачей – похоже, мы были единственными пассажирами этого странного поезда, без остановки летящего в неизвестность. Чем-то он напоминал брошенный командой корабль, отданный на волю волн и сумасшедшего машиниста.

Чувство голода начало вытесняться страхом – а не похитили ли нас? Вспомнились разные пугающие рассказы о мстительном КГБ – ведь был 1977 год, разгар холодной войны, а мы только что храбро разоблачали советскую власть на антисоветском Бьеннале.

Где-то около полуночи дверь нашего купе распахнулась и вошли двое в железнодорожной форме. Наконец-то!

«Рома!» - хором воскликнули мы.

«Билети!» - ответил один из двоих и протянул руку.

Мы радостно вложили в нее билеты.

«Рома?» - в пандан нам воскликнул человек в форме и ткнул пальцем в какую-то строчку билета.

«Рома!» - еще радостней подтвердили мы.

«Но Рома! Наполи!»

«Какие-такие наполи?» - не понял Чаплин.

«Неаполь», - шустро перевела ему я.

Тут в разговор вступил Саша:

«Но Наполи! Рома!» - твердо сказал он и тоже ткнул пальцем в билет.

На этом запас итальянских слов у нас исчерпался. Мы, конечно, знали заветные выражения «кванто коста?» и «дове туалето?», но в данной ситуации они были явно непригодны, и мы перешли на английский, которого контроллеры не знали. Кому-то из нас пришла в голову остроумная идея предъявить

наши авиабилеты, четко утверждавшие, что наш самолет на Тель-Авив отбывает из Римского аэропорта завтра в шесть утра.

Как ни удивительно, это подействовало на итальянских контроллеров – несмотря на отсутствие общего языка, они нас поняли и простили. Будь они немцами, все сложилось бы иначе – в немецком поезде был бы буфет и точное расписание со всеми отмеченными пересадками, но нас бы выволокли из вагона и повели в полицейский участок за нарушение порядка, поскольку у немцев в отличие от итальянцев есть порядок, его называют орднунг и он юбер аллес.

Нас не только простили, но выдали справку, позволяющую нам бесплатно вернуться в Рим и, милостиво указав на циферблат часов, отметили время, когда поезд приходит в Неаполь – четверть третьего ночи. Выкатившись на неаполитанский перрон, мы изучили расписание обратных поездов и загрустили – о том, чтобы поспеть в Рим до отлета самолета не могло быть и речи.

Зато можно было наконец поужинать, - и мы отправились в ресторан: несмотря на поздний (или ранний) час, в Неаполе было полно открытых ресторанов. Поверьте, это была одна из самых прекрасных трапез в моей жизни! Размягченные вкусной едой и отличным вином мы решили расслабиться и получить удовольствие: раз уж судьба закинула нас в прекрасный город Неаполь, нет смысла уезжать из него среди ночи. Нужно найти отель, переночевать и наутро отправиться в Помпеи. Ведь не каждый день нам предоставляется такая возможность за счет итальянского железнодорожного ведомства!

Отель мы нашли легко, прямо рядом с вокзалом. Его веселая хозяйка была вдребезги пьяна, и потому никак не могла воткнуть ключ от комнаты в замочную скважину. Ее безуспешные попытки напомнили ей что-то похожее из ее эротического прошлого, чем она, громко хохоча, щедро пыталась с нами поделиться, но мы так до конца ее и не поняли. В конце концов, все кончилось хорошо, мы даже сумели отстоять свои десять тысяч лир, на которые она пыталась наутро нас обсчитать.

Вырвавшись из объятий веселой, но корыстолюбивой хозяйки, мы поспешили было к поезду на Помпеи, но нас остановило маленькое приключение. Солнце светило почти по-летнему, на грязном тротуаре шумно играли дети. Пока мы разглядывали карту города в поисках дороги на вокзал, мимо нас, чуть погромыхивая, медленно полз красный городской трамвай, на подножке которого стоял кудрявый молодой парень. Заметив, как мы склоняемся над картой, он, по видимому, быстро сообразил, что мы туристы. Ловко спрыгнув прямо в центр

толпы играющих детей, он схватил ближайшего ребенка поменьше и бросился к нам, громко выкрикивая:

«Бедный бамбино! Дайте доллар на кусочек хлеба для бедного бамбино! Всего один доллар для бедного бамбино!».

Он прямо наступал на нас, тыча нам в лицо ошалевшего от неожиданности бамбино, но мы устояли и не дали ему желанный доллар – нам самим с трудом хватало на билет до Помпей. Экономя деньги, мы пешком добрались до пригородного вокзала и без приключений приехали в Помпеи.

Сезон был не туристский, и вокзал был очаровательно пуст - это были славные времена, когда озверевшие от доступности любой точки мира туристские толпы еще не затопили итальянские улицы. Мы пересекли маленький мостик, переброшенный над заросшей лопухами канавой, и очутились на пустынной аллее, окаймленной высокими деревьями. Кроме нас, других пассажиров, сошедших на этой сонной станции не было, станционные работники тоже в поле зрения не мелькали, так что не у кого было спросить, как попасть в эти самые Помпеи.

Единственным доказательством того, что мы приехали в нужное место, была слабо курящаяся над головой громада вулкана Везувий. По спинам нашим пробежала дрожь – ведь если у этого монстра есть склонность взрываться без предупреждения и мгновенно засыпать все окрестности раскаленным пеплом, почему бы ему не отколоть этот номер именно сейчас?

Пока мы размышляли на эту захватывающую тему, из-под деревьев выкатился радужный четырехколесный гибрид между телегой и каретой, запряженный вислозадой лошадкой и управляемый пожилым лихачом в шляпе с пером.

«Прокатимся в Помпеи?» - спросил лихач на скудном, но все же доступном пониманию английском.

«Прокатимся!», - взликовали мы дружным трио, потрясаясь простоте решения трудной задачи, минуту назад казавшейся абсолютно неразрешимой.

«А далеко?» - поинтересовался осторожный Чаплин.

«Через двадцать минут там будем», - бодро ответил лихач.

«Кванто коста?» - блеснула своим итальянским практичная я.

«Пять тысяч», - последовал ответ по-английски, вероятно, во избежание недопонимания.

Саша не сразу оценил ситуацию и наивно спросил:

«Со всех?».

«С каждого! - обиделся лихач. – Мне ведь лошадь каждый день кормить надо».

С этим трудно было спорить, но денег у нас осталось маловато. Заметив затуманившую наши лица тень

нерешительности, лихач добавил, как истинный знаток человеческой души:

«С моими билетами вас впустят в Помпеи даром», - и показал нам увесистый бумажный рулон.

Делать было нечего, и мы взобрались в его бричку, обнаружив, что от телеги в ней больше качеств, чем от кареты. Лошадка неспешно затрусила вдоль высокой стены, которая все тянулась и тянулась, никак не кончаясь. Наконец, стена свернула вправо и мы очутились перед невысоким кирпичным зданием, очевидно принадлежавшим эпохе гораздо более поздней, чем злополучное извержение Везувия, прикончившее Помпеи.

«Тпру!» - крикнул наш возница и лошадка немедленно остановилась, как вкопанная.

«Но это ведь не Помпеи?» - усомнилась я.

«Нет, это еще не Помпеи, - покладисто согласился возница, - это фабрика, изготовляющая камеи. Я подумал, раз вы уже сюда приехали, почему бы вам не купить наши замечательные камеи по дешевке?».

Зачарованные его простой народной логикой, мы выбрались из телеги и отправились на охоту за камеями. Не успели мы оглянуться, как нам всучили пару неплохо исполненных камей, довольно ловко имитирующих античные оригиналы, заставив при этом распрощаться со сладкой мечтой об ужине в римском ресторане.

Покончив с камеями, мы снова взгромоздились на жесткие сиденья нашего экипажа и трусцой направились обратно вдоль той же бесконечной стены. Когда мы подкатили к тому месту, с которого началось наше путешествие, возница отановил лошадку и счастливым голосом объявил:

«Можете выходить! Приехали!».

«А как же Помпеи?» - тем же дружным трио отзвались мы.

«Да вот они, ваши Помпеи!» - и возница изящным взмахом руки указал на неприметные ворота все в той же стене. Скрытые деревьями, они как-то ускользнули от нас по приезде на вокзал, хоть были расположены точно напротив выхода из него.

«Значит, вы нас обманули?», - гневно воскликнул Саша.

«Зачем обманул? Я обещал привезти вас в Помпеи – и привез!».

С этими словами он поспешно хлестнул лошадку и она, освобожденная от нашей тяжести, бойко поскакала галопом, увозя своего хозяина подальше от греха. Однако, сердце у него было доброе, и он крикнул нам на прощание – уже издалека:

«Зато с моими билетами вас впустят в Помпеи бесплатно!».

Как хохотали кассиры Помпейского музея при виде наших

билетов! Они так веселились, что и нас заразили своим весельем – осознав, какими мы оказались фраерами, мы стали хохотать так же безудержно, как они. Все было прекрасно – перед нами лежали Помпеи, и денег на настоящие билеты нам хватило. Везувий курился не грозно, а скорее нежно, словно пуская дым кольцами, старался нас завлечь – идите, мол, идите, полюбуйтесь на мою работу!

А полюбоваться было на что! Город, засыпанный раскаленным вулканическим пеплом, сохранился под ним поразительно хорошо, словно его спрятали в надежный непроницаемый футляр. Говорят, никакая машина времени не смогла бы так верно воспроизвести чужую жизнь двухтысячелетней давности, как законсервировал ее намертво застывший пепел. Ни дожди, ни ветры, ни коррозия не коснулись городских улиц, уютных домов и благополучных интерьеров, и не порушила их шкодливая человеческая рука. Все осталось, как было 28 августа 79 года нашей эры, за исключением разве мелочей – вещи в основном сохранились, сгорели только человеческие тела. Но по обуглившимся скелетам удалось без особого труда восстановить их позы – кто где лежал, кто где сидел, кто с кем лежал, кто с кем сидел. Хорошо, что ревнивые жены и мужья уже никогда не получат этой информации.

В этом благополучном городе было все – архитектурно совершенный Форум, элегантный амфитеатр для зрелищ, общественные бани, стадион с плавательным бассейном, и даже некое подобие бара, где можно было выпить и поболтать. В виллах с мозаичными полами, за стенами, украшенными фресками, шла полная довольства жизнь, которая прервалась мгновенно и без предупреждения. Смерть обрушилась на ничего не подозревающий город лавиной раскаленного пепла, который обволок его и похоронил под собой на сотни лет.

Я бы назвала Помпеи музеем «мементо мори» - «помни о смерти!».

ЕКАТЕРИНБУРГ

В Екатеринбург, в девичестве Свердловск, мы прилетели на рассвете июньского дня 2002 года. Летели мы из Москвы, о которой после двадцати лет разлуки ничего нового рассказать я не могу, кроме того, что там все говорят по-русски, даже милиционеры. Впрочем, к этому чуду можно еще добавить, что в Москве живут героические женщины. Не взирая на то, что в городе слишком много подземных переходов без эскалаторов, почти все женщины любого возраста ходят там в модельных лодочках на высоченных шпильках, таща в руках тяжеленные сумки с продуктами.

Однако, какой бы ни была Москва, она никак не подготовила нас к встрече с Екатеринбургом. Там, правда, тоже все говорили по-русски, но этим, пожалуй, сходство исчерпывалось. Я не встретила там ни одной женщины, даже самой что ни на есть юной, в лодочках на острых шпильках. Да практически ни одной по настоящему нарядной женщины. Зато в отличие от Москвы о Екатеринбурге можно рассказывать и рассказывать.

Можно начать с аэропорта, куда прибыл в то июльское утро наш московский Боинг. Щурясь от сияния только что взошедшего, очень юного и ретивого, солнца, мы спустились по трапу на идиллически тихую зеленую лужайку, на которой не было ни одного самолета, кроме нашего. И, притаптывая девственно-зеленую травку, побрели с чемоданами в руках к возвышающемуся невдалеке зданию, на стене которого красовалась схема полетов из Свердловска во все концы земного шара. Начерченные золотой краской прямые лучи выходили из сердцевины схемы по всей окружности, достигая Лондона, Парижа, Чикаго, Пекина, Иоганнесбурга и Калькутты. Простирающееся вокруг травяное поле, явно не тронутое самолетным шасси, никак не подтверждало правдивости горделивой схемы.

«Это все осталось в прошлом, теперь у нас есть только два полета в сутки – один из Москвы, другой из Петербурга, - печально сказал встречавший нас физик из местного Института Металлов. И добавил, не дожидаясь нашего вопроса - Авиакомпания разорилась, билеты слишком дороги, и у людей нет таких денег».

Выходит, у жителей с Екатеринбурга денег на билет нет, а у жителей Свердловска были! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Загрузив чемоданы в автобус, мы покатили в отведенную нам резиденцию. Все, кроме меня, были члены израильской научной делегации, приглашенной для совершения взаимного акта российско-израильской дружбы, и потому нас поселили в санатории для новых русских. Но хоть во имя этой дружбы принимали нас по первому разряду, нормального шоссе нам обеспечить не смогли – всю дорогу из аэропорта нас швыряло, качало и грохало о разбитый асфальт.

Санаторий для новых русских оказался не слишком шикарным и почти приемлемым, если не замечать постоянно протекающих унитазов и отваливающихся дверных ручек. Зато вокруг шелестел и благоухал сказочный хвойный лес, главный объект моей ностальгии.

«Сейчас поставлю чемодан и побегу гулять по лесу!» – забывшись, воскликнула я, подражая восторженным девушкам из чеховских пьес. Но меня тут же грубо вернули в проклятую екатеринбургскую действительность:

«В наш лес выходить категорически запрещено, он полон энцефалитных клещей, - поспешно охладил мой пыл кто-то из хозяев. - Я вам советую, каждый раз по возвращении осматривать себя, особенно подмышками, клещи любят впиваться в подмышки».

Образ клещей, впившихся в мои подмышки, отрезвил меня достаточно, чтобы я потеряла интерес к сказочному лесу и направилась в далеко не сказочный город. А может, это просто была другая сказка, где никто не читал Чехова и не знал, что в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли? Насчет души и мыслей не скажу, но лица в этом городе были серые, и одежды тоже, зато лиц таких на улице было великое множество, молодых и старых, мужских и женских, – и это в разгар рабочего дня! Может, в этом сером городе никто не работал, и все отдыхали?

Но в такое благополучие почему-то не верилось. Вместо того, чтобы безмятежно отдыхать, потоки людей с серыми лицами заталкивались в маленькие жестяные автобусы-коробочки, какие ходили по Московской области лет сорок тому назад, и куда-то ехали. Я наугад втиснулась в такой автобус и тоже поехала неведомо куда. Кондукторша, с трудом протискиваясь через густо спрессованную толпу, продавала розовые билеты, отрывая их от висевшей у нее на груди катушки.

Наслаждаясь возможностью говорить с кондукторшей по-русски, я спросила, какая остановка конечная, она ответила «Больница». И я доехала до больницы, тем более, что к концу пути автобус сильно опустел, и даже можно было сесть. Больница

мне была ни к чему, меня просто завело туда праздное любопытство, так что я решила, не выходя из автобуса, ехать обратно в центр. Но не тут-то было – кондукторша безжалостно высадила меня, объявив обычное российское «не положено», против которого в моем арсенале не было оружия.

Я покорно вышла, и направилась было на другую сторону корявого пригородного шоссе, где предполагалась начальная остановка того же автобуса. Но меня задержало неожиданно открывшееся странное зрелище, напомнившее полузабытые кадры, то ли из фильма Феллини, то ли из фильма Бюнюэля. Прямо напротив приземистого здания больницы возвышался одинокий холм, когда-то наверно заросший травой. Но трава была уже изрядно вытоптана, вернее, просижена, потому что по всей наклонной поверхности холма печальными рядами сидели десятки стариков и старух. Такого количества стариков и старух, скученных на малом пространстве, я не видела никогда, даже в фильмах Феллини и Бюнюэля.

Они сидели безмолвно, неподвижно и покорно, словно чего-то ждали. Поначалу у я решила, что они ждут, когда автобус, сделав круг, подкатит к начальной остановке, но автобус подъехал, и ни один из них не шелохнулся. Тусклые глаза их были прикованы к дверям больницы, беззубые рты полуоткрыты. Завороженная их неподвижностью, я тоже застыла и забылась, в результате чего автобус укатил без меня, и пришлось дожидаться следующего.

Поскольку он предполагался только через полчаса, я попыталась найти такси. Однако минут через десять, когда до меня дошло, что понятие «такси» в этом городе вряд ли кому-нибудь известно, я, решила дождаться автобуса – другого способа выбраться оттуда все равно не было. И вдруг среди сидящих на холме стариков началось какое-то волнение. Некоторые стали вставать со своих мест и спускаться вниз, за ними потянулись другие, и вскоре на проезжей части дороги образовалась небольшая колонна, которая никуда не двигалась, а лишь слабо колыхалась на одном месте.

В голове у меня замелькали безумные сценарии. «Массовое самоубийство» выглядело бы убедительно, но исключалось полным отсутствием проезжающих машин, а автобусом старики явно пренебрегли. Для «Демонстрации протеста» не хватало плакатов и лозунгов. Чтобы разрешить свои сомнения, я опять воспользовалась тем, что все говорили по-русски, и спросила у стоящей рядом старушки, куда они направляются.

« Сейчас будут раздавать остатки обедов, - пояснила старушка уже на ходу, так как колонна поспешно двинулась в

сторону больницы. И зыркнула на меня ревниво. – Но ты не рассчитывай, это только для пенсионеров».

Я и не рассчитывала – мой автобус подошел раньше, чем открылось окошко милосердия, так что даже увидеть раздачу остатков мне не удалось, не то, что отхватить тарелку с недоеденным кем-то супом. Я с облегчением села на свободное сиденье возле окна, но всю дорогу ничего за окном не видела – перед моими глазами неотступно маячили покорные старческие лица с беззубыми ртами и потухшими глазами, жадно устремленными на заветное окошко в больничной стене.

Когда автобус привез меня в центр, возвращаться в свой санаторий для новых русских было еще рано – конференция, на которую приехал мой муж, профессор физики Тель-Авивского Университета, должна была длиться еще несколько часов. Я двинулась в сторону, противоположную той, откуда приехал автобус, в надежде, что там мне откроется что-нибудь утешительное. Все-таки город этот раньше считался российским Чикаго и славился своей мощной индустрией. Не могла же эта слава развеяться, как дым, за столь короткий срок?

Через пару кварталов мне показалось, что сквозь окутывающую город дымку печали вроде бы просвечивается что-то пестрое и даже веселое. Главную улицу, по которой я шла, пересекал широкий, обсаженный деревьями бульвар. Он был заполнен густой многоцветной толпой. Я свернула с главной улицы и увидела, что ошиблась – толпа была обыкновенная, тусклая, зато сам бульвар полыхал красками.

По обе стороны центральной аллеи далеко-далеко, насколько хватало взгляда, тянулись торговые ряды, полные причудливых предметов. Чего только там не было - картины, писаные маслом, лунные пейзажи, умело вырезанные из красочных уральских камней, подсвечники из таинственно мерцающего селенита, черные бархатные витрины, усеянные брошками из яшмы всех возможных цветов, кольцами с сердоликом, браслетами из кварца, ожерелья из хризолита, хрусталя и малахита!

Сначала я бродила среди этой неземной красоты, просто наслаждаясь, но, постепенно трезвея, осознала, что вся она выставлена на продажу – и ринулась покупать. Цены были просто смехотворные – украшения ручной работы из натуральных уральских самоцветов стоили сущие гроши, и я накупила их вдоволь, всласть, для себя, для друзей, для родных. Торговцы быстро смекнули, что я, хоть и говорю по-ихнему, но все же иностранка, и стали заламывать цены, которые, однако, по-прежнему казались мне смехотворными. Так что, в конце концов, довольны остались все – и я, и они.

Автобус, который должен был отвезти меня в мое временное пристанище, почему-то не пришел, следующий должен был по расписанию появиться через час, но никто не знал, появится он или нет. И я решила все-таки попытать счастья и найти такси – я вообразила, что в центре города на это больше надежды. И точно, после четверти часа поисков мне удалось набрести за углом на древнюю колымагу, гордо к украшенную табличкой «Такси». Мне показалось, что шофер слегка озадачен просьбой отвезти меня в дальний пригород, но мое согласие заплатить названную ему, по всей вероятности безумную цену – что-то около трех долларов – вынудило его согласиться. И мы тронулись в путь.

Через несколько кварталов мотор такси задымился и принялся надрывно чихать, скорость заметно упала, и еще через пару кварталов машина остановилась, как вкопанная. Некоторое время она дрожала, как умирающая лошадь, а потом как-то осела и затихла.

«Отмучилась, страдалица! Я же говорил, не доедет, - с каким-то садистским удовольствием сказал шофер. – Придется вам добираться на автобусе, дамочка»

Слово «дамочка» он произнес, будто лягушку проглотил, но я все еще не могла врубиться в ситуацию:

«Тогда вызовите мне другое такси!» – потребовала я.

Шофер оглядел меня со странной смесью презрения и жалости, и я всей кожей почувствовала себя дамочкой, совершенно здесь неуместной, в кричащей парижской блузке и в режущих глаз плетеных итальянских сандалиях.

«Да где его взять – другое такси-то? – выкрикнул он риторически. – Ведь я один-единственный на весь город, а у меня сцепление полетело, царствие ему небесное! Так что идите к автобусу, дамочка!».

«Ладно, отвезите меня назад в центр», - пролепетала я, сдаваясь.

«До центра я не доеду, дай бог до гаража добраться. Так что идите, дамочка, пешочком, два квартала направо, сядете там на тройку, а на конечной пересядете на девятку, и через час, если повезет, будете на месте».

Мне не повезло, и до места я добралась не меньше, чем часа через два, полностью вкусив всю прелесть екатеринбургского существования. Больше в самостоятельные экспедиции по городу я не пускалась, и видела его только из окна институтского минибуса, который исправно возил членов делегации на осмотр местных достопримечательностей.

Главных достопримечательностей было две – часовня, построенная над тем домом, где по легенде был зверски убит

царь Николай Второй со всей семьей, и большой камень, километрах в сорока от Екатеринбурга, отмечающий границу между Европой и Азией. Часовня была еще не достроена (или на ремонте), и нас туда не впустили. А шоссе, ведущее к знаменательному камню, было так изувечено многолетним напором зимних снегов и не знающих времени многотонных грузовиков, что путешествие к границе двух континентов осталось у меня в памяти сущим наказанием. И даже память о том, как Федор Достоевский дважды целовал этот камень - по пути на каторгу и обратно, - не помогла мне, пока я, подтягивая к горлу рассыпанные дорожной тряской внутренности, подбиралась к этому камню на нетвердых ногах.

Были нам показаны еще две достопримечательности, не рассчитанные на туристов. Недалеко от центра города возвышалось недостроенное здание, претендовавшее когда-то на роль небоскреба. Как сообщили нам сопровождающие лица, строительство небоскреба внезапно заморозили на восьмом этаже, обнаружив, что с последующих этажей можно будет увидеть окружающие город военные объекты. Объектов этих было столько, что деньги, уже вложенные в постройку будущего небоскреба, показались градоначальникам сущим пустяком.

Другой интересный объект лежал в лесистой низинке – это было огороженное оградой совершенно новое обширное кладбище, все могилы которого были помечены не раньше, чем 1991 годом. И большинство клиентов которого не достигли и тридцати лет. Это было кладбище жертв грандиозной гражданской войны, вспыхнувшей при разделе бывшей уральской государственной промышленности. Кто победил, мне неведомо, но результаты этого раздела прямо-таки кололи глаза – пустотой аэропорта, серостью лиц и одежд, безработицей и печатью невыразимой печали.

Дни конференции пролетели быстро, и, как положено, в знак счастливого ее завершения был назначен банкет. Назначен он был почему-то не на последний, а на предпоследний день. Причина этой странности открылась нам не сразу, а лишь назавтра после банкета – оказалось, что на последний вечер назначено было его продолжение, так как не все было съедено, а, главное не все выпито.

Выпивки было невообразимое количество при невообразимом ее разнообразии. При этом угощение вполне соответствовало выпивке – и по количеству и по разнообразию. Стол просто ломился от яств - копченные бараньи бока и свиные языки золотились среди жареных перепелок, дивных паштетов из гусиной печенки, заливной осетрины и красной икры,

фаршированной черной. Я уже не говорю о немыслимых соленьях – об огурчиках, помидорчиках, о трех сортах грибочков, о капусте белой и красной и серо-буро-малиновой. Да всего не перечислишь.

Трудно было поверить, что за стенами нашего санатория унылые серые граждане теснятся в туго набитых автобусах-коробочках и голодные старики терпеливо ждут, когда им вынесут из больницы чужие объедки. Впрочем, местные академики, окружающие роскошный стол, накрытый скатертью-самобранкой, не слишком отличались от больничных стариков – таким неподдельным восторгом горели их глаза при виде этого банкетного великолепия.

Мой сосед справа, по виду вполне пригодный к роли старика на больничном холме, опорожняя рюмку за рюмкой, горько пожаловался, что все его профессорские доходы, включая академическую надбавку и деканскую зарплату, с трудом достигают трехсот долларов в месяц. Сосед слева, академик, из Новосибирска, горько сетовал, что доехать до Екатеринбурга можно только на ужасном, битком набитом поезде, который тащится двое суток, так как самолеты давно отменили. Его особенно радовали соленые помидорчики, которые были у них в Новосибирске большой редкостью, хотя он лично выращивал несколько кустов свежих помидорчиков на своем академическом подоконнике..

Главного героя, председателя конференции, всесоюзного академика, приехавшего на это предприятие из Москвы, на банкете не было. Да и вообще его видели только на церемонии открытия - произнеся приветственную речь, он твердым шагом вышел из зала и исчез. Сначала ходили слухи, что он то ли заболел, то ли вернулся в Москву, но вскоре все разъяснилось – он со своим заместителем заперся у себя в номере, оснащенным большим ящиком водочных бутылок, и три дня пил, не просыхая. «Он приехал сюда расслабиться и снять стресс» - пояснили нам его Екатеринбургские коллеги.

И мы его поняли и простили. Говоря «мы», я имею в виду русско-язычную часть израильской делегации, - из семи их было трое. Поняли ли его израильтяне, я не уверена.

Все немного выпили, - каждый по своим критериям, разумеется: израильтяне по наперстку, свердловчане по графину - председательствующий от Института Металлов звякнул ложечкой о бутылку и общий шум стих. Профессор откашлялся и поднял бокал:

«Господа, завершена Израильско-Российская конференция, подтверждающая факт дружбы между русскими и евреями. Наши

отношения с евреями были всегда сложными и драматическими. В семнадцатом году евреи устроили нам революцию, и Россия покатилась под откос. Но им этого было мало – в девяностом году они устроили нам вторую революцию, результаты которой вы видите вокруг себя».

В этом месте мой муж не выдержал. Он крикнул громко, а голос у него зычный:

«Если вы будете продолжать в том же духе, мы и третью революцию вам устроим!».

Директор на миг осекся, и не известно, куда бы потекла банкетная река, если бы в этот миг входная дверь не распахнулась, пропуская высокого человека в ладном костюме, сопровождаемого двумя громилами, вооруженными автоматами с короткими стволами. Человек в костюме быстрым шагом двинулся к столу, громилы шли за ним по пятам.

«Уже пришли брать!» - воскликнул мой муж.

И ошибся.

Человек в костюме обхватил за плечи председателя израильской делегации, бывшего профессора Екатеринбургского Университета, и смачно поцеловал. Оказалось, что он – бывший студент нашего председателя, пренебрегший академической карьерой ради бизнеса. Он оказался одним из победителей гражданской войны за раздел уральской государственной промышленности, а громилы с автоматами были всего лишь его телохранителями. Похоже, что на нем лежала львиная доля ответственности за роскошь банкетного угощения. И потому его появление смягчило возникающий конфликт, - увидев, как он нежно целует председателя еврейской делегации, академики сменили тон. На сцену вышел другой Екатеринбургский профессор, склонный не к агрессии, а к юмористическому подходу.

«Друзья мои, - сказал он лукаво, - наши отношения были драматичны, но ваш приезд вносит в них новую ноту. Это нота доверия. И я хочу рассказать вам сказку о доверии.

Шел как-то Иван-царевич по лесу и увидел лягушку. Она сказала нежным голосом:

«Иван-царевич, возьми меня к себе во дворец и поцелуй. Тогда я превращусь в прекрасную девушку и стану твоей любовницей».

Идея понравилась Ивану-царевичу. Он принес лягушку к себе во дворец, из осторожности на кухню, и там поцеловал. Как только он ее поцеловал, она тут же превратилась в прекрасную девицу, к сожалению, одетую, и начала торопливо раздеваться. Она успела снять с себя юбку и кофту, но только перешла в

нижнему белью, как в кухню вошла жена Иван-царевича. Увидев полуголую прекрасную девицу, она слегка опешила и спросила :

«Иван-царевич, а это кто?».

«Это лягушка – я принес ее из лесу», - ответил Иван-царевич, глядя жене в глаза чистым взором.

И жена ему поверила.

Так выпьем же за доверие!».

И академики выпили – раз, еще раз и еще много-много раз, - и водочки, и коньячка, и опять водочки, и опять коньячка, закусывая эту благодать жареными рябчиками и красной икрой, фаршированной черной. Старческие глаза их источали слезы радости и умиления – ведь им не часто перепадали такие милости. Похоже, их не слишком смущало, что представители израильской науки далеко отстали от них по количеству выпитого. А может, я не права – эта наша неспособность расслабиться в питии укрепляла в их душах то самое доверие, которое так изящно описал их красноречивый коллега.

Не могу с определенностью сказать, на какую роль он нас назначил, на роль коварного Ивана-царевича или на роль его доверчивой жены, но город Екатеринбург я покидала назавтра с большим облегчением. Я прошла по не топтаной траве бывшего аэропорта к никем не охраняемому самолету, твердо надеясь, что я побывала в этом городе не только первый, но и последний раз.

Говорят, что с тех пор омертвевший Екатеринбург слегка оживили, пригласив для его воскрешения несколько китайских строительных фирм, но мне трудно в это поверить. Наверно потому, что увиденная мною тягостная картина выглядела вполне органичной, а возрождение с помощью отряда китайских кудесников выглядит синтетическим. Ведь китайцы в конце сказки вернутся в Китай, а вечная российская реальность останется такой же, какой ей предначертано быть. И все вернется на круги своя.

ЯПОНИЯ И ЯПОНЦЫ

В Японии очень тесно. Я это заметила как только ступила на японскую землю – зал прибытия токийского аэропорта был так густо набит людьми, что сразу становилось ясно, почему там нет тележек для багажа. Там и без тележки было непросто пробиться к выходу – нам пришлось прямо таки прорубаться локтями, плечами и коленками сквозь плотную человеческую гущу, чтобы добраться до камеры хранения, где мы, наконец, избавились от тяжелого чемодана.

Мы притащили с собой этот чертов чемодан, потому, что - как ни смешно это звучит - мы были в Японии проездом из Америки в Европу. Поскольку предыдущие два месяца мы провели в Сиэттле, самом северном городе тихоокеанского побережья США, выбранный нами путь возвращения в евроазиатское полушарие выглядел не таким уж нелепым. Тем более, что у мужа был запланирован доклад на физической конференции в японском городе Сендае.

Из-за того, что мы организовали свою японскую авантюру в Сиэттле, с налету, а не как все нормальные люди – загодя, через своего родного агента под конвоем своей родной туристской группы, мы очутились в Стране Восходящего Солнца без всякого присмотра круглых глаз. Там, на Дальнем Востоке, люди делятся на косоглазых – положительная характеристика - и круглоглазых, т.е. варваров и фраеров одновременно.

Чтобы продумать и сконструировать эту отчаянную авантюру – поездку по Японии без провожатых, минуя общепринятые туристские маршруты, - я, как на работу, целую неделю ходила улаживать дела в натуральное японское агентство в Сиэттле. Штат агентства составляли исключительно косоглазые, хорошо понимавшие свою родину - они сходу посоветовали мне не тратить время на Токио, город слишком модерновый и слишком людный, даже для Японии.

Сговориться с косоглазыми из Сиэттла было легко – они отлично владели английским, но я оценила это их умение только в Японии, где ни один встреченный мною японец по-английски не говорил и не понимал. Я не преувеличиваю – ни один! И даже молодые ребята из туристского агентства, обслуживавшего физическую конференцию в Сендае, могли понять мой простой вопрос, типа: «Сколько часов идет поезд из Киото в Токио?», только тщательно записав его иероглифами и добросовестно обсудив всем коллективом – их было четверо, три парня и

девушка. С трудом осознав смысл моего вопроса, они все вчетвером медленно-медленно переводили на английский ответ, типа «Три с половиной часа», и выпускали с докладом девушку, как самую шуструю. И хоть была она шустрее парней, понять ее на слух было почти невозможно.

Вопросы о расписании поездов были для нас самыми актуальными, так как наши американские косоглазые уговорили меня купить страшно дорогой железнодорожный билет первого класса, настаивая на том, что во втором классе могут ездить только японцы. Сразу же по приезде, на вокзале Токийского аэропорта, в ожидании поезда, направляющегося в Сендай, я оценила ценность этого совета – увидев битком набитые бесондиционерные вагоны второго класса, я поняла, что круглоглазый фраер средних лет живым в этих вагонах не доедет даже до ближайшей станции.

Я очень быстро оценила человеколюбивые порядки вокзала Токийского аэропорта, где некоторые надписи были сделаны по-английски. С тех пор, как мы этот вокзал покинули и смело отправились без гида в японскую глубинку, латинские буквы я видела только на вывеске, украшавшей бесконечное число огромных серых зданий, щедро рассыпанных по всей стране. Здания были стандартные – серые бетонные параллелепипеды без окон, увенчанные одним и тем же непостижимым неоновым выкриком «ПОЧИНКО!».

Путешествуй я по Украине, я бы решила, что это неграмотно сформулированная реклама починочной мастерской, но что это слово значило в Японии, постигнуть было невозможно. В центре первого этажа зияла высокая, широко распахнутая дверь, почти ворота, через которые непрерывно струился людской поток: слева внутрь, справа - наружу.

Однажды, не в силах обуздать свое любопытство, мы, рискуя заблудиться и навсегда затеряться в японской толчее, выскочили из автобуса, остановившегося перед одним из таких зданий. Автобус укатил, а мы, робея, влились в косоглазый поток, текущий внутрь. Билетов у входа не продавали, так что мы свободно вступили в огромный сумрачный зал, размером с самолетный ангар, озаренный неоновым сиянием бесконечных рядов игровых автоматов. Мы прошли весь этаж, отметив, что почти все автоматы были заняты игроками, и поднялись на эскалаторе на второй этаж – он ничем не отличался от первого. Как не отличались от него залы третьего, четвертого и пятого этажей.

Бесчисленная армия молодых японцев – впрочем, может, не столько молодых, сколько моложавых, ведь на них

возраст не виден до старости - исступленно двигала джойстики, вперив остро сфокусированные взгляды в переливчатые экраны. Потом нам объяснили, что компьютерные игры считаются одним из лучших способов снятия стресса, наравне с алкогольными напитками. Стресс у японцев – самый большой в мире, если судить по количеству ежедневных самоубийств на душу населения, по которому Япония занимает первое место. Так что имя «Починко», подсознательно прочитанное мною как название ремонтной фирмы, неожиданно приобрело реальный смысл – людской поток вносил внутрь здания надорвавшихся, а выносил наружу восстановленных после починки.

Но все это обнаружилось уже потом, когда мы, вволю настрадавшись от полного отсутствия контакта с местным населением, рады были любому знаку, не похожему на иероглиф. А в начале мы, поглядев на пассажиров второго класса, стиснутых телами соседей до невозможности упасть даже в обморок, радостно погрузились в свой привилегированный вагон первого класса и отбыли в сторону Сендая.

В вагоне было прохладно и пусто, тогда как за окном было людно и жарко - 34 градуса жары на фоне стопроцентной влажности. Потом люди рассеялись, и за оконным стеклом мимо нас помчалась настоящая Япония – сразу было видно, что это не Европа. Невысокие горы казались декорациями – они вежливо взбирались друг на друга ровными лесистыми ступенями, какие в моих представлениях способна создать из папье-маше рука человека, но уж никак не природа из подсобных материалов.

Столпившиеся вблизи железной дороги деревья тоже были мало похожи на настоящие – почти плоские купола их крон были широко распластаны и напоминали зонтики, но зонтики фальшивые. Потому что все быстро укорачивающиеся кверху ветки росли строго по линеечке перпендикулярно к стволу, а листики на ветках стояли дыбом, строго перпендикулярно к веткам, так что в результате каждое дерево казалось совершенно прозрачным, и не отбрасывало тени.

Потом деревья остались позади и началась долгая дорога через равнину. Поезд мчался мимо высоких темно-зеленых кустов, густо усеянных крупными белыми цветами, похожими на птиц. Пока я в них всматривалась, пытаясь понять, цветы они или птицы, некоторые цветы оказались птицами и взлетели, оставив остальных в недоумении колыхаться на ветвях.

А потом мы приехали в Сендай, в котором на первый взгляд не было ничего японского кроме жары, настолько тяжкой и влажной, что хотелось для передышки хоть на минуточку смотаться в Тель-Авив. Однако, как только мы вошли в свой

номер в сендайском отеле, стало ясно, что мы в Японии. Его дизайн в своем стремлении к экономии пространства в точности соответствовал идее ночного горшка ручкой внутрь. Чтобы уместиться на кровати, ноги приходилось протиснуть под стол, - может, японцам это было не так тяжело, потому что в среднем они гораздо короче круглоглазых. То же можно сказать и про унитаз, засунутый под умывальную раковину, так что выпрямиться в туалете было невозможно.

В вестибюле отеля ни один клерк не понимал по-английски. И когда на экране телевизора возникла непрерывно повторяющаяся картинка идущего на Сендай тайфуна, не у кого было даже спросить, когда он свалится нам на голову. К счастью, информацию о тайфуне удалось извлечь на конференции из физиков-японцев, живших Америке только их английский можно было понять на слух. Не помогли громкие заявления некоторых европейских коллег, что мы, мол, иностранцы и юрисдикции тайфуна не подлежим, он все равно неумолимо пер на нас со страшной скоростью, громко завывая за окном и ломая испуганные деревья.

А потом, ни с того ни с сего, вдруг одумался и, сменив направление у самого входа в Сендай, пошел крушить бумажные стены домов в окрестных деревнях.

Назавтра во всю светило солнце, на улицах было тихо и чисто, сломанные деревья за ночь убрали, кучи сбитых веток и листьев увезли на свалку, и я осмелилась выйти на разведку. Понимая, что спросить дорогу мне вряд ли удастся, и больше всего боясь заблудиться, я судорожно сжимала в руке карту города с английскими названиями улиц. Вид этой карты, смятой моей испуганной ладонью, оказался необычайно сильной приманкой для прохожих - они устремлялись ко мне, как мотыльки на свечу. Узнавая знакомые улицы по рисунку карты, каждый доброхот старался объяснить мне что-то важное, а я никак не могла понять, куда же мне направить свои сбивчивые шаги.

Придя в отчаяние, я спрятала карту подальше от сострадательных туземцев, и самовольно отправилась куда глаза глядят. Сендай – город современный, никаких особо интересных храмов там не предполагалось, но я все же набрела на один – храм Риноджи, вмонтированный в лиственную благодать окружающего парка как драгоценный цветок в японский букет – икебана.

Пресытившись обилием красоты, поданной с подогревом в 34 градуса при стопроцентной влажности, я двинулась к центру города, рассчитывая на стандартизацию современной

цивилизации – главное, нужно было найти какое-то убежище, облагодетельствованное кондиционером. И не ошиблась – через несколько кварталов я набрела на супермаркет.

Я, конечно, не сразу поняла, куда меня занесло, потому что картина была непривычная, и все надписи были сделаны иероглифами, но, оглядев обширное, хорошо охлажденное подземное пространство, я заключила, что передо мной супермаркет, хоть и японский.

Больше всего он был похож на кунсткамеру, потому что вместо привычных параллельных рядов полок, уставленных банками и пачками, просторный зал был заполнен низкими застекленными прилавками, экспонирующими невероятное разнообразие малосъедбных, на мой неразвитый европейский вкус, монстров, мелких и крупных, жаренных, сушенных и маринованных.

Чего только там не было! Кузнечики всех цветов и фасонов, зеленые, оранжевые, коричневые и красные, осьминоги, целиком и вразбивку, крабы, улитки, креветки, ракушки, пестрые рыбки, похожие на червей, и черви, похожие на рыбок. И все это предлагалось попробовать. Это было очевидно, потому что окружающие покупатели – а супермаркет был так же набит битком, как остальная Япония, - то и дело набирали в горсть очередное лакомство и вдумчиво жевали его или сосали, чтобы лучше оценить его достоинства. Одна продавщица долго кланялась мне, заманивая, так что я из вежливости подержала между пальцев щепотку жареных мух, но положить их в рот не решилась, а незаметно сунула в урну, чтобы не обидеть любезную женщину.

Молочных продуктов я не обнаружила, хлебного отдела тоже, только в дальнем, явно непочетном углу продавали микроскопические кусочки какого-то мяса. Зато маринованных овощей и водорослей было ползала. Некоторые из них я все же решилась попробовать, однако и они были не по мне - скользкие и обжигающе острые, они меня скорей отвратили, чем привлекли.

Но это вовсе не значит, что японская еда несъедобна – просто нужно к ней привыкнуть и понять принципы, на которых зиждется эта изысканнейшая кухня нашего мира. Она создавалась и отшлифовывалась тысячелетиями, поэтому наивно думать, что с первого наскока можно освоить богатства японского супермаркета. Лучше всего начинать с японского ресторана, где пищу готовят, сервируют и подают в согласии с четким, веками отработанным ритуалом.

Мои американские агенты научили меня, как правильно выбрать ресторан для ланча. Ланч в Японии едят ровно в час дня,

и разумнее всего для знакомства с этой трапезой присоединиться к мелким служащим банков и компьютерных компаний, выбегающим их своих контор ровно в тринадцать ноль-ноль. Именно к мелким, считающим каждую копейку, так как из-за невероятной дороговизны японских отелей мы вынуждены были перейти к режиму строжайшей экономии.

В точности следуя этому совету, где-то без пяти час мы начали курсировать по улице, пестрящей ресторанными вывесками. Ровно в час улица превратилась в поток черных голов над белыми рубашками – стайки молодых, а может, просто моложавых, стройных мужчин в темных брюках, белых рубашках с короткими рукавами и свободно повязанными галстуками, выпархивали из соседних переулков и торопливо устремлялись к ресторанам.

Выбрав наугад одну из таких стаек, мы чуть-чуть опередили ее и попытались проскользнуть в ресторан прямо у них под носом – в Америке нас предупредили, что надо спешить, а не то все места могут быть заняты мгновенно. Но на пороге нам преградила путь суровая дама, показывая жестами, что надо снять туфли и надеть розовые тапочки, которые горкой лежали у входа. Поспешно сунув ноги в тапочки, мы забежали внутрь и постарались сесть за указанный дамой лакированный столик. Это оказалось непросто, так как столик возвышался над полом не выше, чем на десять сантиметров.

К счастью этот ресторан был не из роскошных и поэтому, снисходя к человеческим слабостям, там под столом была вырыта мелкая ямка, примерно десять сантиметров в глубину.

Пока мы с трудом заталкивали в эту ямку свои не пригодные для японского застолья ноги, нам без спросу уже принесли ланч. Никакого выбора не было – каждый, сидевший за своим низкорослым столиком, получал черный лакированный поднос со стандартным набором черных лакированных тарелочек и коробочек. Ланч состоял из маленькой чашки прозрачного рыбного супа, коробочки парового риса, трех коробочек с рыбой, двух сортов сырой и одного – маринованной, двух крошечных коробочек с маринованными водорослями, и розеточки с маринованным имбирем.

Это было странно, довольно вкусно и до смешного мало. Там же, на подносе лежал чек, вполне умеренный. Не совсем уверенные, что сыты, мы с усилием выкарабкались из-под столика, расплатились в кассе, отыскали в куче туфель на пороге свои и вышли на солнечную улицу в поисках кофе.

Эта задача оказалась непосильной – не знаю, как герои романов Харуки Мураками умудряются непрерывно бродить из

кафе в кафе и пить кофе. Мой недолгий японский опыт научил меня не верить в правдивость Мураками – описанные им кафе, равно как спагетти и деревянная мебель в домах, просто придуманы им для того, чтобы не огорчать круглоглазого читателя слишком уж прущей в глаза экзотикой японской жизни.

Потому что эта жизнь и вправду экзотична. Не с первого взгляда, нет – с первого взгляда японцы мало чем отличаются от остального мира. Теперь никто уже не носит кимоно. Я все искала кого-нибудь живого в кимоно, пусть не самурая, так гейшу, но не нашла, наверно потому, что теперь уже нет ни самураев, ни гейш. Никто в их реальной жизни не ходит в кимоно, кроме чрезмерно раскрашенных фигур на экранах телевизора, - там их лица набелены и брови насурмлены до такой степени, что отличить героя-любовника от оскорбленного мужа невозможно, особенно без знания языка. Тем более, что и у мужа, и у любовника зубы старательно выкрашены в черный цвет – такова прихоть ушедшей в прошлое японской эстетики.

Живых женщин в кимоно мы видели за всю поездку только один раз – на вокзале в городе Каназава. Женщин было четыре, - одетые в красные кимоно, они танцевали в зале ожидания вокзала на невысоком помосте, где было так же тесно, как в любом месте Японии. Танцевали они нечто, совершенно не похожее на танец, под музыку, совершенно не похожую на музыку. Они семенили мелкими шажками на крошечном помосте и изгибались, под красными соломенными зонтиками, как камыш на ветру. Это было завораживающе красиво, хоть ни на что не похоже. А может, именно поэтому.

А в обыденной жизни прохожие на улицах одеты по европейски элегантно, особенно женщины, которые часто ходят в шортах или в коротких юбках, нисколько не стесняясь своих кривых ног. Я не шучу: почти у всех японок – наверно, и японцев тоже, но сквозь брюки это не так бросается в глаза, - необыкновенно кривые ноги, выгнутые полукругом дугой наружу, как турецкие сабли. Скорей всего, именно этой их анатомической особенностью объясняется секрет их способности сидеть на полу специфически японским образом. Они сидят, как кузнечики из народной песни – коленками назад, уютно устроив ягодицы в треугольнике между коленками и сведенными вместе пятками.

Я попробовала присесть по-японски, как бы в шутку, понимая, как это трудно, но у меня ничего не получилось, даже в шутку. А в саду императорского замка в Киото немолодая художница писала акварельный пейзаж, скрестив по-японски ноги сзади, и, судя по завершающему этапу картины, просидела в такой позе не один час – и хоть бы что!

Одного нашего приятеля-физика коллеги японцы повели в роскошный ресторан, где все было оригинально по-японски, без поблажек, и до ямок под столами не снизошли. Так что, пока японцы, сидя на пятках, наслаждались дорогими изысканными блюдами, наш бедный приятель весь извелся, изыскивая способы устроить под столом свои длинные европейские ноги. Отчаявшись, он попытался сесть по-турецки, но быстро устал, и в конце концов просто улегся на бок, опираясь на локоть, что сильно отравило ему возможное удовольствие от изощренной японской стряпни.

Оправившись от недоношенного тайфуна, мы решили съездить на побережье, чтобы посетить бухту, заключающую в себе тысячу островов. Была ли их там тысяча, я не уверена, я их не считала, но красоту они создали неповторимую, потому что красота создавалась в творческом согласии с человеком. Почти на каждом острове, даже самом крошечном, высилось какое-нибудь строение, - храм или беседка, - яркая, загнутая кверху крыша которого превращала зеленый клочок островка в праздничную картинку. Многие острова были связаны изящными мостиками, а по мостикам двигались туда-сюда обычные японские толпы под разноцветными зонтиками, нисколько не уродуя своим присутствием нарядный пейзаж. День выдался хоть и жаркий, но солнечный, все вокруг так и сверкало под крышей голубого неба над бирюзовым морем, - люди под зонтиками и хрупкие башенки под островерхими крышами, в основном красными, казались игрушечными.

Это удивительное японское умение превращать любую встречу с природой в произведение искусства, поразило меня, пожалуй, больше всего. Мне то и дело вспоминались привычно уродливые русские деревни, приютившиеся на лесных полянах или на склонах живописных холмов, как бы в насмешку над окружающей красотой. И становилось обидно – неужели нельзя обустроить жизнь так, как японцы, бережно, обдумывая и угадывая

эстетические требования родного пейзажа.

Другим поразившим меня качеством японского быта была необыкновенная точность во всем, значительно облегчившая нам попытку что-то увидеть без посторонней помощи. В результате мучительного, но плодоносного диалога с ребятками из туристского агентства, мне удалось составить наш железнодорожный маршрут, обусловленный купленным заранее двухнедельным билетом в первый класс.

Наша беда заключалась в том, что в глубинке, куда мы направлялись, название японских железнодорожных станций

написано только иероглифами, а нашими буквами никогда. Как узнать, где выйти, если поезд стоит одну минуту, а наших вопросов никто не понимает? Веселые турагенты, хоть и не могли освоить английский язык, оказались сообразительными ребятами. Они выдали мне железнодорожное расписание, подчеркнув красными чернилами время прибытия и отбытия всех нужных нам поездов на всех нужных нам станциях. Мы входили в поезда и выходили на перроны не по названию станции или поезда, а по времени прибытия или отбытия. И ни разу не ошиблись! По японским поездам можно проверять часы, чего сегодня нельзя сказать не только о русских поездах, но даже о немецких, уже не говоря об израильских автобусах.

Вооружившись этим расписанием, мы ринулись в японскую глухомань, что было равносильно прыжку в океанский простор. С помощью американских косоглазых мы выбрали для главного действа провинциальный город Каназаву, - хоть и богатый историческими объектами японской культуры, однако, к счастью, лежащий в стороне от проторенных туристских путей.

За этот смелый поступок мы были вознаграждены тем, что за всю неделю, проведенную в окрестностях Каназавы, мы встретили только одну круглоглазую пару, зато мы встретили ее дважды, на разных концах нашего маршрута.

Жить в отелях Каназавы нам было не по карману, и мы поселились в менее дорогом городке Такаока, откуда каждый день отправлялись в Каназаву согласно выданному нам расписанию поездов – благо, билет был безразмерный и первоклассный. Благодаря этой не слишком удобной программе нам удалось познакомиться с подлинно народной японской кухней, далекой и от меню туристских ресторанов, и от меню, предложенному в романах Мураками.

Поскольку, торопясь на поезд, мы отправлялись в путь без завтрака, нам приходилось каждый раз рыскать по вокзалу Каназавы в поисках подходящей еды. Сначала мы, неспособные задать ни единого вопроса, бродили по разветвленному подземному лабиринту в поисках кофе, но быстро убедившись, что на кофе рассчитывать нечего, принялись за наглядное изучение меню многочисленных маленьких ресторанчиков, гнездящихся по обе стороны сумрачных туннелей. Выбор был столь же разнообразный, сколь непостижимый, - ведь мы не могли спросить, какая мелкая живность жарится на больших черных сковородах. Пришлось довольствоваться обнаруженной в одной харчевне темно-серой, ничем не заправленной лапшей, – по крайней мере, было гарантировано, что это не кузнечики и не черви.

Особенно поразила наше воображение одна фантастическая обжорка в глубине подземелья, - очень уж она напоминала китчевое изображение адского пира. Она занимала довольно большую, плохо освещенную комнату со сводчатым потолком, под которым клубился густой, дурно пахнущий пар. От этого все помещение было затянуто зыбким туманом, сквозь который проступал свет раскаленных углей в жаровнях на полу, а над жаровнями очертания подвешенных на крюках котлов с пахучей снедью, причем в мутной похлебке можно было разглядеть крупно нарубленные куски каких-то пупырчатых чудовищ, вероятно, морских.

Но самыми впечатляющими были очертания сидящих на полу едоков – их было довольно много. Почти поголовно бритоголовые и головастые, и все, как на подбор, страхолюдные, они выглядели причудливыми вариациями Квазимодо – быть может, в таких уродов их превращала игра пляшущего в жаровнях огня, и колышущегося над ним тумана. Когда мы вошли, все эти страшилища, как по команде, обернулись и уставились на нас, словно никогда не видели круглоглазых, - что вполне возможно. Мы потоптались на пороге, робко разглядывая пупырчатые обрубки морских тварей в котлах, а потом, не сговариваясь, рванули оттуда наверх, на свежий воздух. Поклявшись попробовать сомнительные яства таинственной обжорки на обратном пути, мы отправились осматривать Каназаву. Выполнить эту клятву нам не удалось.

Каназава - город с богатой историей, так что осматривать его нам пришлось не один день. В первый день мы полюбовались главной его достопримечательностью - парком Кэнроку-эн, одним из трех знаменитых "Японских Садов". Сад оказался, как и предполагалось, увеличенной копией всех других японских садов, свидетельствующих о непостижимой для европейца изысканности японской эстетики. Японцы обожают сады, и хоть в стране тесно, никто не отказывает себе в роскоши иметь собственный лоскуток земли величиной с носовой платок, на котором разбит поразительный по красоте миниатюрный садик. В таком садике все, как у больших, только крошечное - специально выращенные карликовые деревья взаправду склоняются над карликовым прудом, из которого вытекает карликовый, но настоящий, а не синтетический, водопад.

Насладившись великолепием Кэнроку-эн, мы изрядно устали и направились было на вокзал, чтобы успеть к поезду на Такаоку, отмеченному красной линией в расписании. Однако мы быстро осознали, что понятия не имеем, как до этого вокзала добраться, тем более, что ничего, похожего на такси, не мелькало на

горизонте. Окончательно отчаявшись, мы заняли выгодную позицию на людном перекрестке и обратились к спешащим мимо прохожим с проникновенной речью: на всех доступных нам языках мы вопрошали, как доехать до вокзала.

Вокруг собралась изрядная толпа, не исключено, что нас приняли за нищих, собирающих милостыню. Мы простирали руки к внимательно разглядывавшим нас узкоглазым лицам, но, к нашему ужасу, никто нас не понял – ни по-английски, ни по-немецки, ни по-русски. Тогда мы стали изображать поезд - в меру своих актерских способностей мы пытались подражать пыхтению и гудкам паровоза. Но первые десять минут никто не опознал паровоз в нашем несовершенном исполнении.

И вдруг - о, счастье! – две девушки-подружки подошли к нам поближе, и одна из них несмело пролепетала: «Рервей стесен?». Вовремя вспомнив, что японцы не произносят букву «л» и еще пару привычных нам букв, я поняла, что они имеют в виду «рейлвей стейшен», и радостно закивала. Девушки просияли, подхватили нас под руки, и повели в неизвестность. Мы покорно последовали за ними.

Через несколько минут они вывели нас к автобусной остановке, возле которой уже выстроилась длинная очередь. Мы встали в хвост очереди, девушки пристроились вслед за нами. Автобуса не было довольно долго, не меньше, чем четверть часа, а когда он, наконец, подошел, мы с удивлением обнаружили, что наши спасительницы вовсе не собирались в нем ехать. Они простояли в очереди четверть часа только для того, чтобы втолкнуть нас в переполненный автобус и крикнуть водителю, что нас надо доставить на вокзал. И это при жаре тридцать четыре градуса и стопроцентной влажности!

Назавтра, предусмотрительно разглядев на карте обратный маршрут на вокзал, мы направились к древнему замку Каназавы, который числится среди самых больших исторических замков Западной Японии. К сожалению, замка как такового нам увидеть не привелось: пару веков назад жестокий правитель-сегун в процессе борьбы с феодальным дроблением приказал разрушить все феодальные замки, сохранив только самые декоративные их части, чтобы будущие поколения могли восхищаться их великолепием. Восхищаться и вправду было чем – непривычно окрашенная переливами синего, голубого и серого оставшаяся в живых стена, рассеченная аркой ворот и завершенная нависающим над дорогой сводчатым мостом, выглядела чудом архитектурного совершенства.

Но самым интересным показался мне хорошо сохранившийся лагерь самураев Нагамачи. Я бродила по редкой сосновой роще,

застроенной типовыми домами-мазанками под черными черепичными крышами, и пыталась представить себе протекавшую здесь веками жизнь таинственной касты самураев. Поселок в роще был похож на муравейник не более, чем слово «самурай» похоже на слово «муравей», но что-то общее слышится и видится мне и в том, и в другом. Потому что и самурай, и муравей прежде всего отказываются от своей индивидуальности, чтобы быть неразличимыми членами большого, коллектива, скованного воедино суровой дисциплиной.

Я знала с детства, что самураи – отрицательные персонажи истории, что подтверждалось популярной песней: «И летели наземь самураи под напором стали и огня». Не говоря уже об отвратительных терминах «камикадзе» и «харакири», и о мистическом ужасе, охватывавшем мое незрелое сознание при мысли об оттопыренных больших пальцах на подобных варежкам сапогах японских солдат. Однако перед поездкой я кое-что почитала, и уже ясней представляла себе, кто такие самураи.

Самураем невозможно было стать, им надо было родиться, и жизнь его состояла из сплошной цепи нерушимых прав и обязанностей. Самурай не имел права появляться на людях без двух обязательных заткнутых за пояс кимоно мечей – длинного, рассекающего, и короткого, колющего, типа кинжала. Он даже спать был обязан в обнимку со своими мечами. Самурай – даже самого низшего ранга, - имел право убить любого не самурая: мужчину, женщину, ребенка, по любой причине и без причины, если ему так заблагорассудилось. Попытка любого не-самурая покуситься на жизнь самурая считалась мятежом и каралась немедленной смертью. Недоносительство в случае покушения тоже каралось немедленной смертью, причем убивали всю семью, включая женщин и детей.

Самурай в любой момент мог убить собственную жену или сжалиться и приказать ей самой совершить харакири (сеппуку). Женщинам-самурайкам для харакири была дана поблажка: им было позволено не рассекать себе живот, как мужчинам, а просто перерезать себе глотку.

Сеппуку считалось привилегией самурая, привилегией, а не карой. Так, однажды один феодал – даймьо – куда-то спешил, и на каждом перегоне менял лошадей. На одном перегоне свежих лошадей не оказалось. Даймьо предложил самураю, ответственному за это, обычный выбор – или самоубийство, или пострижение в буддийские монахи. Самурай выбрал смерть. Вообще у самураев были особые отношения со смертью – похоже, что умереть им было легче, чем жить. А некоторые из них перед смертью сочиняли стихи, которые записывали кисточкой на

рисовой бумаге. Стихи были нежные, романтические и философские – четыре нерифмованных строчки о ветре, облаках и о цветущих вишневых деревьях.

На усыпанных опавшей хвоей дорожках лагеря самураев мы в первый и последний раз за время блужданий по Каназаве встретили круглоглазую пару европейских интеллигентов. Заговорить мы с ними не решились, только перекинулись понимающими взглядами, как тайные сообщники.

На обратном пути из Каназавы в Такаоку нам привелось увидеть необыкновенную – для нас! – и обычную для Японии сцену. Поезд замедлил ход перед небольшим полустанком, и наш вагон оказался в точности напротив высоких ворот, украшенных сторожевой будкой с охраняющим их маленьким солдатиком в каске и с автоматом через плечо. Именно в тот момент, когда наш поезд остановился перед воротами, там происходила смена караула. К стоящему у ворот солдатику промаршировал другой и несколько раз низко ему поклонился. В ответ первый солдатик тоже низко поклонился не менее трех раз, в ответ на что второй солдатик начал кланяться опять. Потом первый солдатик с поклонами снял с плеча автомат и протянул его второму, в ответ на что второй взял автомат и оба принялись как заводные куклы кланяться друг другу, и никак не могли остановиться. Не знаю, удалось ли им прервать это увлекательное занятие или нет, потому что поезд негромко взвыл и покатился дальше, так и не позволив пассажирам досмотреть этот поучительный спектакль.

Больше мы мимо этого полустанка не проезжали, потому что, вдоволь насмотревшись на Каназаву, отправились назавтра в другую сторону – в скрытый в горном сердце центральной Японии чудесно сохранившийся деревянный городок Такаяма, построенный еще в конце шестнадцатого века.

В этом уютном городке, ласково прозванном «маленьким Киото», тоже было тесно – старинные деревянные дома, построенные искусными плотниками три века тому назад, триста лет стоят вдоль древних деревянных тротуаров, тесно прижавшись друг к другу. А прохожие, – не знаю, то ли местные жители, то ли туристы, но все, как на подбор, косоглазые, - триста лет текут вдоль тротуаров плотным потоком, так что сквозь их строй приходится пробиваться локтями.

Мы и пробивались, - это уже вошло у нас в привычку, - и вдруг, завернув в за угол в районе гейш, опять увидели круглоглазую пару, ту же самую, что и в Каназаве, в лагере Нагамачи. Они так выделялись в густой дальневосточной толпе, что не заметить их было невозможно. Мы опять не перекинулись с ними ни словом, а только обменялись понимающими

взглядами, как тайные сообщники.

У нас не было времени на обмен любезностями - нам необходимо было осмотреть хоть часть достопримечательностей Такаямы, чтобы вовремя поспеть на свой помеченный красными чернилами поезд, который обеспечивал нам возможность после двух пересадок к ночи вернуться в нашу ночлежку в Такаоке. Главной нашей целью был знаменитый сухопутный флот Такаямы, триста лет бережно хранимый в специальных музеях-ангарах между двумя ежегодными фестивалями, апрельским и октябрьским.

Интересное понятие - сухопутный флот, но каким еще может быть флот, построенный и хранящийся в самой удаленной от всех морей точке Японии? Он состоит из одиннадцати роскошных полнометражных кораблей, понятия не имеющих об океанских стихиях, да и злато-лакированная их отделка вряд ли могла бы вынести хоть одно-единственное плавание по морям, по волнам. Во время фестивалей их несут на руках – по сотне носильщиков на брата, и они плывут над толпой, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги.

У каждого корабля есть возвышенное имя, типа «Музыка Богов», «Бог Удачи» или «Открывающий Путь». Все они украшены фонариками, флагами, мостиками, балюстрадами, фантастическими фигурами и куклами богов в человеческий рост. Судя по фотографиям, во время фестивалей теснота на улицах Такаямы переходит все обычные японские пределы, но это не мешает присутствующим дамам красоваться под открытыми зонтиками. Зрелище дивное и ни на что не похожее.

После «маленького Киото» нам предстояло в наш скудный двухнедельный срок побывать в большом Киото, официальной столице Японии с периода Хейан (794) по период Мейдзи (1868). Несмотря на изобилие бетона, огней и неона, в Киото больше, чем в других городах Японии, может упокоиться сердце жадного до экзотики западного туриста. Там есть 2000 храмов и алтарей, три дворца, десятки садов и музеев, на осмотр которых можно потратить месяцы и даже годы. Поскольку у нас не было даже недели, я не стану описывать все сокровища этого города, а ограничусь описанием собственных приключений.

На этот раз мы решили поселиться в гостинице типа «риокан», что означает традиционный японский постоялый двор. Таким решением мы сразу убивали двух зайцев – экономили изрядные деньги и погружались в народную японскую жизнь. Первый признак народной жизни обнаружился немедленно на пороге риокана в виде горы розовых тапочек, наваленных у входа. Нас это не озадачило, мы уже были ученые – гордые своим

знанием, мы без раздумий разулись и зашлепали внутрь в совершенно не подходящих по размеру ни одному из нас розовых тапочках.

Но как только мы вошли в предложенную нам комнату, где единственным предметом мебели был телевизор на ножках, тут же выяснилась неполноценность наших познаний в области японского быта. Не успели мы поставить чемоданы и попытаться присесть на скрученные в валики матрасы, служащие в риокане одновременно стульями, столами и кроватями, как вслед за нами ворвалась разъяренная хозяйка. Она с громким криком возмущенно тыкала пальцем в сторону наших ни в чем не повинных ног в розовых тапочках.

Убедившись, что мы не понимаем ни слова из ее гневной речи, она села на пол и, бесцеремонно сорвав с нас тапочки, вышвырнула их в коридор. После чего погрозила нам пальцем и удалилась, оставив нас в сомнении, полагается ли нам за такое преступление совершить двойное харакири или нет. В конце концов, мы решили этот вопрос в пользу «нет», основываясь на том, что, не удостоившись чести быть самураями, мы не заслужили такого славного конца.

Принявши мудрое решение остаться в живых, я поступила, как и положено живым – вышла в коридор, надела розовые тапочки и отправилась искать уборную. Уборная была маленькая, довольно чистая и совершенно японская – с учетом строения ног коренного населения в ней не предполагалось наличие унитаза. Вместо унитаза ее украшала пара каменных подошв, указывающих, куда ставить ноги, а между подошв зияла глубоко уходящая вниз дыра, по которой текла нещедрая струйка воды. Пока я примеривалась к непривычной конструкции, кто-то с громкими криками начал ломиться в дверь уборной. Я заподозрила, что это опять хозяйка, открыла дверь и не ошиблась – это была она, но гнев ее поднялся на пару градусов выше.

Не тратя слов на ненужные объяснения, она опять сорвала с меня розовые тапочки и напялила мне на ноги красные, одиноко дежурившие за порогом уборной. Не полагаясь на мою круглоглазую сообразительность, она дождалась под дверью, пока я вышла из уборной, чтобы убедится, что я не отправилась к себе в комнату в красных тапочках вместо розовых. Я так и не узнала, кого именно я осквернила, - уборную из-за присутствия в ней тапочек, или тапочки из-за их присутствия в уборной.

Одно я знаю наверняка – утром мы опять напроказили. Проснувшись поздно, мы аккуратно помылись в специфической японской ванне, перед входом в которую мы предусмотрительно сменили розовые тапочки на приготовленные у двери черные.

Вернувшись в свой номер мы уселись на расстеленные на полу матрацы из рисовой соломы и стали обсуждать, с чего начать свой день в Киото. Не прошло и двух минут, как нашу мирную беседу прервал громкий стук в дверь. Готовые ко всему мы покорно впустили хозяйку, которая стала наступать на нас, пытаясь вытеснить в коридор.

Мы бы так и не поняли причину ее недовольства, если бы на наше счастье мимо не проходил живший в соседнем номере студент из Австралии, изучавший японский язык в местном университете. Он практически спас нас, объяснив, что по традиции риокана ровно в десять утра все комнаты должны быть убраны, а все матрацы, служившие ночью кроватями, должны быть свернуты в рулоны, чтобы превратиться в стулья.

Усвоив очередное правило, мы выкатились на улицу и направились к императорскому дворцу, где в полдень была обещана экскурсия на английском языке - специально для иностранцев.

По дороге наше внимание привлек удивительный спектакль, который мы по неопытности приняли за театральную репетицию. День был сумрачный, наполненный дыханием наступающего из океана тайфуна, и потому многие витрины были ярко освещены. В одном залитом неоновым светом оконном фонаре стоял обычный низкорослый столик, а вокруг столика сидели на полу трое косоглазых – два с торцовых сторон, лицом друг другу, а третий – у длинной стороны, лицом к улице. Все трое непрерывно и увлеченно кланялись друг другу.

Мы застыли перед окном, завороженные размеренным ритмом их взаимных поклонов. Наконец левый из сидящих по торцам прервал цепь поклонов и, плавно простирая руки, поднял со стола невидный нам до этого плоский предмет. Протянув предмет сидящему к нам лицом, он несколько раз низко поклонился, касаясь лбом поверхности стола. Тогда сидящий к нам лицом несколько раз вдумчиво поклонился, торжественно принял плоский предмет и начал медленно его разворачивать, а оба сидящих по торцам принялись кланяться с нарастающей скоростью, как механические игрушки.

Сидящий к нам лицом развернул сверток, который оказался мужской рубашкой, и растянул его за рукава, словно хотел рассмотреть его на просвет. Частота поклонов торцовой пары достигла рекордной величины, а сидящий лицом опустил рубашку на стол и несколько раз поклонился плавно и без спешки. В ответ торцовые дружно вскочили, один из них схватил рубашку и умчался с нею вглубь помещения, тогда как второй с не меньшей стремительностью принес и положил на стол другую

рубашку. К этому времени первый вернулся, и оба поспешно заняли свои места по торцам стола. И все трое опять приступили к первоначальной церемонии размеренных поклонов.

Тут кого-то из нас осенило: никакой это не спектакль! Просто два приказчика из рубашечного магазина продают клиенту рубашку, следуя главному завету японской традиции:

«Повторяя обязательные формулы вежливости, мы играем в игру, в которую наши предки играли веками, выполняя правила, определяющие каждый их шаг, каждую фразу. Это предохраняло их от ошибки, способной повредить им и нанести ущерб их чести».

Восхищаясь живучестью этой традиции, мы оторвались от зрелища в окне, и поспешили на экскурсию в императорский дворец-музей. Все императоры Японии, включая и сегодняшнего, принадлежат к одной династии, ведущей свой род, как говорит легенда, от богини Аматэрасу. Первый император этой династии – Сын Неба - взошел на престол в 660 году. С тех пор утекло много лет и событий. Император уже больше тысячи лет назад потерял власть, он давно ничем не правит, он просто служит нравственным символом единства нации и доказательством ее божественного происхождения.

Императорский дворец в Киото – тоже символ. Иностранцев, вроде нас, впускают туда только по предъявлении паспортов, и проверка у входа напоминает проверки в аэропортах после атаки девять-одиннадцать. Когда гид, произнося речь на незнакомом языке, повел нас во дворец по аллеям изящного императорского парка, идущая рядом с нами молодая американка пожаловалась своему спутнику:

«Ведь нам обещали гида, говорящего по-английски!»

«Он и говорит по-английски», - утешил ее спутник.

«Никогда бы не подумала!» - воскликнула она, входя в странно пустынную анафиладу комнат, в которых не было ни одного предмета мебели. Был только до блеска натертый паркетный пол, окруженный полупрозрачными стенами из специально изготовленной для этой цели рисовой бумаги. Бумага была натянута на деревянные рамы и расписана причудливыми узорами из фантастических птиц и цветов, окрашивающими плитки паркета во все цвета радуги. Бедность дворцового убранства отражала истинную бедность императора и его двора.

В течение многих веков японские императоры, как и их придворные, практически были нищими. Только владетельные феодалы, даймьо, и их самураи получали доход от имений, а императорский двор, имениями не владевший, жил на скудную стипендию от очередного правителя- сёгуна, и на скудные

подачки могущественных феодалов.

Центральная комната дворца изображала встречу этих двух начал - императора, наделенного платонической властью, и сёгуна, наделенного земной властью силы. Восковые фигуры императора со свитой, принимающего визит сёгуна, тоже со свитой, симметрично сидели друг против друга на голом полу в непостижимых для европейцев, типично японских позах, уютно поместив свои ягодицы между широко разведеными пятками. Мужчин от женщин отличить было трудно – все, и владыки, и их придворные были одеты в кимоно, все лица были густо набелены, брови густо насурмлены, волосы высоко зачесаны в сложные прически.

Все это было так же не похоже на привычные нам европейские дворцы, как японский английский не похож на знакомый нам английский английский. Единственным признаком величия императорского дома был простор – ни в парке, ни на паркете там не было тесно.

Зато в аэропорту, куда мы прибыли сверхскоростным поездом из Киото, было так же людно, как и в день нашего прилета. Мы направлялись в Копенгаген, - из одиннадцати часов беспосадочного полета десять нам предстояло лететь над Россией, которую мы покинули много лет назад без какой бы то ни было надежды вернуться. Хоть с тех пор многое изменилось, мы еще не набрались решимости ступить на российскую землю. И потому со смутным ностальгическим чувством предвкушали эти десять часов высоко в небе над некогда родными местами. Хотелось хоть краем глаза глянуть, как выглядит там жизнь сейчас – ведь мы бывали и на Алтае, и на Енисее, и на Урале, не говоря уже о среднерусской полосе.

Но нам не привелось увидеть ни единого клочка российской земли – словно в насмешку, начиная с Владивостока, небо было намертво затянуто тяжелыми свинцовыми облаками, и очистилось только где-то над Германией. Словно высшая сила объявила нам, что обратной дороги нет.

МОЯ НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ

В моей немецкой деревне любой от мала до велика говорит при встрече: «Гутен таг» - «Добрый день», но только до пяти вечера. А с пяти он говорит «Гутен абенд» - «Добрый вечер». Но мы, темные, никак не можем сориентироваться и дружно отвечаем ему «Гутен таг», напряженно пытаясь сообразить: «неужели уже вечер? Ведь еще совсем светло». Это приветствие так же обязательно, как ежесубботнее мытье тротуара с мылом или выщипывание мелких пучков травы, осмелившейся вырасти между камнями дорожки, ведущей к дверям.

Немецкий ребенок с пеленок выучивает такое множество благородных и полезных правил социального общежития, что невозможно поверить в его способность с такой же неукоснительностью выполнять зверские приказы любого сиюминутного начальства. А может, наоборот - все дело в этой самой неукоснительности? Так же неукоснительно сопровождать еврейских детей в лагерь смерти, как желать им «Гутен таг» в другой ситуации?

Вот уже двадцать пять лет задаю я себе эти вопросы, неукоснительно удирая в свою немецкую деревню от жаркого израильского лета. Именно в эту деревню, где одна из улиц называется «Юден Хюбель» - «Еврейский холм», хоть здешние жители утверждают, что в их краях отродясь не было евреев, кроме нас. Когда-то раньше, в самом начале, узнав, что мы из Израиля, здешние жители приходили в неописуемый восторг, но с годами привыкли к нам, как к местной достопримечательности, и уже не показывают на нас пальцем, шепча друг другу «Глянь, а эти двое – евреи».

Что же заставляет нас ездить сюда, кроме подсознательного, хоть и очевидного, мазохизма? Ответ мой будет необычайно прост – любовь. Мы с первого взгляда влюбились в здешнюю тишину и оторванность от мира, в бесконечную даль зачарованного заповедного леса, в хитрую вязь по-немецки ухоженных лесных тропинок, в постоянную умытость неправдоподобно пряничных домов.

Наша деревня расположена в самом сердце Европы – два с половиной часа поездом до Парижа, пять часов до Берлина, шесть – до Цюриха. И в то же время она наглухо отгорожена от всего мира многими квадратными километрами лесной глухомани, хоть это не русская глухомань, а немецкая – с хорошо протоптанными тропками, размеченными разноцветными

указателями и тщательно нанесенными на подробные карты.

Попали мы сюда случайно – сбились с пути, направляясь на машине из Карлсруэ в Париж, и забрели в крошечный городок по имени Лемберг – любопытно было посмотреть на гору, на вершине которой, если верить Гете, ведьмы танцевали в Вальпургиеву ночь. Ведьм мы в Лемберге не нашли, разве что ими могли оказаться две густо загримированные продавщицы косметического отдела местного универмага – ведь это тоже из области чудес, когда в городишке размером с носовой платок красуются универмаг, супермаркет и очаровательное кафе с фантастическим выбором восхитительных немецких пирожных.

Одуревшие от душистого кофе и от чистого, настоенного на сосновой хвое, лесного воздуха, мы снова тронулись в путь, и тут же заблудились, хоть заблудиться было практически невозможно - вполне вероятно, что нас заколдовали загримированные ведьмы из универмага.

Заблудившись окончательно, мы вкатились в крошечную деревеньку, семь осененных цветами домиков которой расположились на лесистом склоне, круто сбегающем к бурной горной речушке – и остановились в потрясении. Со стен каждого домика на нас скалились, над нами смеялись, нам угрожали и нас приветствовали лукавые морды чертей и леших всех размеров. Самая большая морда занимала всю, специально под нее побеленную, торцовую стену двухэтажного дома – на макушке у нее красовалась шляпа с пером, во рту дымилась трубка соответствующего размера. Дом оказался итальянским рестораном с весьма разнообразным меню – не чудо ли, в деревеньке из семи домов? Пришлось пообедать.

После обеда мы отправились дальше по узенькой – в одну машину, - извилистой дороге, затиснутой между лесной чащей и крутым берегом речушки. Сначала я волновалась – а куда деваться при виде встречной машины? Но постепенно пришла к выводу, что опасность встречи невелика – по дороге никто не ехал, так что даже некого было спросить, куда нас черти несут. Зато присутствие чертей чувствовалось во всем – то слева, на лесных прогалинах, то справа, на другом берегу, поминутно возникали какие-то малиново-красные химеры самых несуразных форм, иногда в виде огромного гриба со шляпкой размером с теннисный корт, иногда в виде вереницы причудливых храмов неведомых религий. А напоследок в поле зрения вплыл огромный, белый, очевидно необитаемый дворец, застывший над зеркально неподвижной водой искусственного пруда, окаймленного цепочкой почему-то горящих среди бела дня дымчатых фонарей.

Впрочем, белый день вскорости начал склоняться к вечеру и мы задумались о ночлеге – стало уже ясно, что выбраться на шоссе из этой путаницы нам в темноте даже черти не помогут. И ошиблись - чертовщина опять сработала, великодушно выставив на дорогу неожиданный в этой глухомани желтый щит с зазывной надписью «Отель». Наша машина с ревом взлетела по почти вертикальной дорожке в никуда, и оказалась перед игрушечным деревянным домом из детской сказки – стены были коричневые, бревенчатые, этажей было три, и на каждом этаже – по два балкона, по всей длине обсаженные цветами.

Проснувшись поутру, мы осознали, что навсегда оказались пленниками этого завороженного леса – мы отменили все запланированные заранее маршруты и остались в этом отеле на две недели. А дальше уже пошло-покатилось – помню, мы как-то решили разрушить чары и провести отпуск в каком-то другом райском местечке, но ничего хорошего из этого не вышло, - непрерывно шел проливной дождь, ребенок заболел, хозяйка нас возненавидела, - словом, чары оказались сильнее нас.

Я попыталась откупиться от заклятья, написавши роман «Ведьма и парашютист», с закрученным сюжетом которого я бы ни за что не справилась без чертей, но этого оказалось мало. Моя попытка выскочить из зачарованного плена, удравши в Англию с романом «Полет бабочки», завершилась покорным возвращением в милый моему сердцу лес в романе «Дорога на Сириус».

И тогда я поняла, что выхода нет, смирилась и огляделась вокруг. Кто они, мои немецкие соседи, обитатели нарядных, утопающих в цветниках домов? Может быть, крестьяне – ведь деревенские жители, не так ли? Ведь в свинарнике возле замка Вилленштейн хрюкают свиньи, а в поле за околицей топорщится овес и пасутся ленивые рыжие коровы. Нет, не выходит - наши дамы с модными прическами и накладными ногтями никак не тянут на крестьянок. Значит, горожане? Тоже не выходит – нет в них этой свойственной горожанам стремительной напряженности, этого постоянного стремления перепрыгнуть через время. Они беспечно болтают в супермаркете с кассиршей, в то время, как небольшая очередь терпеливо пережидает, когда исчерпается начатая тема беседы.

Мне помогла беззастенчивая реклама одного из здешних ресторанов, сообщающая, что он гордится своей «добротной бюргерской кухней». Вот оно, заветное имя - бюргеры! Пренебрегая привычной ругательной коннотацией этого слова, я догадалась: здешние жители – бюргеры и бюргерши! Причем они нисколько этого не стесняются! Как не стесняются свисающих с их балконов пышных кустов алых и розовых гераней. А нас с

детства приучили, что герань – отвратительный символ мещанства.

Может и впрямь, на бедном подоконнике жалкой комнаты в коммунальной квартире горшок с геранью символизировал нечто отвратное комсомольским сердцам наших родителей. Но здесь, в зеленом обрамлении сосновых ветвей, прозрачные гирлянды розовых цветов чудо как хороши. А ведь вовсе не просто сохранять эти кусты из года в год. Герань не переносит зимнего холода, а значит нужно с наступлением осени снимать с крюков висячие горшки, упаковывать их, каждый отдельно, в нейлоновый мешок с проколотыми дырочками для дыхания и увозить на тележке в специально приспособленный для них погреб, где они будут зимовать, подвешенные на крюках под потолком. Это нелегко – снять, перевезти, упаковать и снова подвесить десятки горшков с геранью, но здешние бюргерши не боятся физической работы, они не жалеют сил ни на мытье лестниц и тротуаров, ни на уход за геранями.

Но это не значит, что им чужда жизнь духа. Прошлым летом нам на глаза попалось объявление, приглашающее в католическую церковь – а у нас их две, есть и протестантская! – на концерт местного хора, исполняющего негритянские Спиричуалз. Мы вспомнили, как несколько лет назад в Париже были потрясены этими Спиричуалз в оригинальной интерпретации негритянской капеллы, и решили пойти послушать, как с этим справятся «свои». Не забывая при этом, что слово Спиричуалз означает «духовные песнопения».

Мы пришли за несколько минут до начала – обширная церковь была полным полна, яблоку негде упасть. На сцене выстроился хор – женщины в белых блузках, мужчины в белых рубахах. По бокам сцены устроились музыканты – тоже в белом. Я вгляделась в парадно причесанных певцов и певиц и ахнула – среди них было полно моих знакомых, которых я даже не подозревала в музыкальных склонностях. Пока я удивлялась, дирижер взмахнул палочкой, и полнолицая Изольда, хозяйка винного магазинчика, по совместительству торгующего овощами и могильной землей, задала тон мощным контральто:

«У меня есть крылья, есть крылья, есть крылья!»

Я знакома с нею много лет, я иногда покупаю у нее яблоки и органическую картошку, но никогда бы не подумала, что у нее есть крылья, они так не вяжутся с ее плотной фигурой и круглым, как луна, лицом. Начисто отрицая мои сомнения, вслед за Изольдой слаженно вступили сопрано, среди которых я заприметила миловидную буфетчицу из бассейна и страхолюдную кассиршу из супермаркета:

«У всех детей Божьих есть крылья, есть крылья!».

У всех, так у всех – грянули мужские голоса: сперва басы, низко-низко, потом баритоны чуть повыше, а уж напоследок над ними совсем высоко, почти достигая небес, взвились тенора:

«Я прилечу на небо и расправлю крылья,
расправлю крылья, расправлю крылья,
И буду кружиться над Божьим миром,
над Божьим миром,
над всем Божьим миром!».

После музыкальной паузы Изольду оттеснила парикмахерша Райнгильда, похожая на взъерошенную курицу в белой блузке. Однако наперекор этому злосчастному сходству она вовсе не закудахтала, а извлекла из глубин своей куриной грудки протяжный чарующий звук:

«У меня есть арфа, есть арфа, есть арфа!»

Звук был чистый и низкий, он начал быстро взлетать выше и выше, под купол церкви, и я поверила, что у нее в груди есть арфа, хоть стричься у нее ни разу не решилась – боялась, что поуродует.

И дальше я уже верила всем - и долговязому аптекарю в очках, и узловатому шоферу, ежедневно пригонявшему в супермаркет тяжелые грузовики с вином и пивом, - когда они уверяли меня, что: «У всех детей Божьих в груди есть арфа, в груди есть арфа», и что они вечно идут по дороге на Иерихон, на Иерихон, на Иерихон, и что все люди – братья, люди – братья, люди – братья!. Песнопение длилось два часа, и никто не шуршал и не кашлял. Я, конечно, не музыкальный критик, и на мой необразованный слух наши немецкие бюргеры пели не менее вдохновенно, чем профессиональные виртуозы оригинальной негритянской капеллы.

После концерта мы вышли из церкви окрыленные, но по дороге вера в светлое начало стала постепенно меркнуть в наших душах, чтобы окончательно погаснуть при подходе к Юден Хюбелю, где по утверждению местных жителей никогда не жили евреи. В это я почему-то так и не поверила – если евреев не было, к чему было называть эту улочку Еврейским холмом?

Юден Хюбель – только одна из тайн нашей деревни. Разве не смешно – обнаружить столько тайн в маленькой деревушке, отрезанной от цивилизованного мира бескрайным массивом заповедного леса? Эти тайны нельзя заметить с налету, для того, чтобы их увидеть, нужно приезжать сюда из года в год и внимательно вглядываться в подробности здешней жизни.

Так, много лет назад на выезде из деревни в лесную

глухомань открылся итальянский ресторанчик «Да Нино», то-есть «У Нино». Ничего особенного, - в основном спагетти, гнокки и разнообразные пиццы. Ресторанчик процветал – там было вкусно и дешево. Хозяина я толком за эти годы так и не рассмотрела, но хорошо запомнила пожилого безымянного официанта, которому всегда нужно было напоминать, чтобы он подал к спагетти тертый сыр.

Через несколько лет мы заметили – не сразу, а через несколько посещений, - что вывеска сменилась: ресторанчик уже назывался не «Да Нино», а «Да Тино». Других перемен не было: ассортимент блюд остался тот же, даже меню не поменялось, и обслуживал нас все тот же пожилой безымянный официант, постоянно забывающий подать к спагетти тертый сыр. На наш вопрос, куда девался Нино, он ответил кратко «Вернулся в Сицилию», и больше к этой теме возвращаться не захотел.

Зато Тино, не в пример Нино, уже не был незримой тенью – это был энергичный молодой сицилиец, очень черноглазый и веселый. Не ограничившись ресторанчиком, он открыл в центре деревушки кафе-мороженое, не закрывающееся в пол-седьмого в отличие от немецких заведений такого типа. Успех был невероятный – счастливые любовники, неприкаянные подростки, запоздалые туристы с рюкзаками и многодетные семьи с колясками до десяти вечера клубились под нарядными зонтиками на тротуаре перед кафе. Казалось, никакая сила не разлучит ловкого Тино с его доходным дельцем.

Однако в этом году мы обнаружили, что ресторанчик уже называется «Да Карло», хоть ассортимент блюд остался тот же, и меню тоже, и обслуживает посетителей все тот же пожилой безымянный официант, постоянно забывающий подать к спагетти тертый сыр. Подогреваемые любопытством мы спросили его, кто такой Карло, он ответил кратко: «Карло – это я».

«А куда девался Тино?»

«Вернулся в Сицилию».

«Почему?»

«Ему пора было возвращаться»

«А кафе-мороженое тоже ваше?»

«Нет, кафе-мороженое получил мой кузен».

Вот тебе и на! Официант Карло получил ресторан, а его кузен - процветающее кафе-мороженое. От кого получил? От сицилийской мафии или просто от семьи? Или семья и мафия – одно и то же? И как долго они продержатся - Карло и его кузен? И куда все-таки девались Нино и Тино? Действительно, вернулись домой или кости их тихо гниют в какой-нибудь сицилийской пропасти? Мне вдруг припомнилось, что и хозяин итальянского

ресторанчика в первой нашей зачарованной деревне, того самого, на торцовой стене которого красовалась морда лесного лешего, тоже через пару лет слинял неведомо куда. И его тоже сменил чей-то кузен. А потом и кузен исчез, и сам ресторанчик с мордой на торце пошел на слом, а на его месте возник гараж по ремонту подержанных автомобилей, принадлежащий кузену кузена. Вчерашняя тайна так и осталась тайной.

А как же быть с тайнами многовековыми? Ведь никто уже сегодня не помнит, кузен чьего кузена построил в восемнадцатом веке знаменитую печь для испекания лукового пирога, прославившую нашу деревню на все Палатины – я не шучу, наши райские места с легкой руки древних римлян носят имя Палатинет. С тех пор прошло уже почти три века, а печь все стоит, как ни в чем ни бывало – невзрачная и низкорослая, похожая скорее на конуру для большой дворовой собаки, чем на культурное сокровище Палатинета, охраняемое государством как архитектурный памятник.

Когда я увидела эту хваленную печь в первый раз, я с недоверием провела ладонью по потемневшим от долгого употребления черепицам, облицовывающим ее верхний свод. Нижний свод, покрытый многовековой копотью, укатился далеко в глубь ее плотного каменного тела, скрывая от постороннего глаза могучую чугунную решетку колосников. Трудно было бы сосчитать количество луковых пирогов, испеченных на этих колосниках за прошедшие триста лет.

Чтобы проверить подлинность рассказов о знаменитом луковом пироге, мы отправились на ежегодную церемонию возжигания печи, проводимую каждый год в первое воскресенье сентября. Мы пришли заранее, пока праздник еще не начался, чтобы получше осмотреться и запарковать машину, так как нас предупредили, что к моменту возжигания мест для парковки уже не будет – люди съедутся из самых отдаленных районов.

Глядя на неприглядный маленький домик, в недрах которого предполагалось вскорости рождение легендарного пирога, мы сильно усомнились в предстоящем народном нашествии. Но не прошло и четверти часа, как воздух наполнился громким ревом множества автомобилей, подъезжающих со стороны шоссе, взбирающихся вверх в гору или маневрирующих, чтобы припарковаться. С холма, на котором стояла печь, была видна витая обрывистая дорога, ведущая из большого мира, - она выглядела, как гирлянда сдвоенных автомобильных фар, медленно наползающих на деревню из бесконечного лесного простора.

Я пропустила момент, когда начала выстраиваться очередь за

луковым пирогом – на площади вдруг грянула музыка, я обернулась и увидела длинную вереницу нарядных пар, хвост которой терялся где-то в темноте дальних улиц.

Мы ловко пристроились к началу очереди – как раз во время, чтобы увидеть, как вокруг печи началась большая кутерьма. Смотритель местного бассейна умело разжег на колосниках веселый огонь, в который два молодых парня в высоких сапогах со стальными гвоздиками стали подкладывать мелко наколотые сухие полешки, заранее заготовленные в поленницах под школьным забором.

Как только в печи заплясало пламя, на ветвях кленов в школьном дворе вспыхнули десятки разноцветных лампочек и осветили притаившиеся под церковной стеной длинные столы, на которых стояли дубовые бочонки, наполненные золотистыми шарами теста. Возле столов уже выстраивались ряды нарядных матрон в белых кружевных фартуках и в белых крахмальных чепчиках. Завершив построение, они разом, как по команде, высыпали на каждый стол горки муки из холщовых мешков и стали проворно раскатывать тесто на небольшие лепешки размером с дессертную тарелку.

Это выглядело, как настоящий театр. Недоставало только, чтобы слаженный хор веселых дровосеков в высоких сапогах со стальными гвоздиками и пышных матрон в белых крахмальных чепчиках грянул что-нибудь возвышенное, вроде: «Сатана там правит бал, там правит бал!».

Вместо хора у печи появились новые матроны с кастрюлями и, споро растусовавшись по столам, начали круглыми черпаками выкладывать горки начинки на разделанные круги теста. В начинке был не только лук, но и мелко наструганные ломтики ветчины, густо посыпанные приправами. Каждая горка тут же равномерно разминалась специальной плоской ложкой по всему кругу лепешки.

К тому времени, как полсотни лепешек были готовы, высокое яркое пламя в печи сменилось ровным алым мерцанием раскаленных древесных углей, затянутых поверху тонкой черной патиной угольной пыли. К печи подкатили длинный, крытый жестью стол, и еще две матроны в белых чепцах вступили в освещенный круг. Каждая взяла в руки небольшую металлическую лопатку, - вернее, плоский противень, насаженный на длинную ручку. На каждом противне была распластана лепешка с начинкой и отправлена в печь на раскаленные угли.

Из печи потянуло вкусным запахом печеного теста и жареного лука, очередь на миг взволнованно загудела и затаила

дыхание. Три минуты проползли в благоговейной тишине. Затем обе печные матроны одновременно слаженно наклонились, вынули из печи лопатки с первыми испеченными пирогами, и единым умелым движением смахнули их на заготовленные заранее белые картонные тарелки.

Мы не успели попасть в число первых счастливцев, надкусивших знаменитый пирог. Но работа у печи шла так слаженно, что через какие-нибудь пятнадцать минут мы уже держали в руках по картонной тарелке с дымящимися лепешками. Вкус у них был божественный – может, в недрах этой невзрачной древней печи хранится какая-то тайна?

«Конечно, хранится, - объявила наша квартирная хозяйка фрау Лило, - ведь недаром местные ребята каждый год накануне праздника пирога с пением носят по улицам огромное чучело дракона!». Чучело это, около двенадцати метров длиной, десятки – а может, и сотни лет, никто не знает точно, - целый год висит в большом мешке в специальной комнате при церкви, ожидая своего часа.

Я не поленилась пойти посмотреть, как этого монстра вытаскивают наружу после зимней спячки. Он провисел целый год в темной комнате, сложенный гармошкой в огромном мешке, и потому выглядел печальным и помятым. Несколько местных дам из Женского Ферайна пришли помогать ребятам приводить дракона в порядок. Его сшили очень давно из цветных лоскутков, изображающих чешую, и натянули на проволочный каркас, и потому каждый год его приходится чуть-чуть подновлять - подшивать порванные лоскутки, распрямлять помятый каркас, чистить пасть и подкрашивать красной краской пятна крови на шее и на хвосте

По мнению фрау Лило эти пятна крови и составляют главную часть сюжета. Очень давно, когда камни вокруг нашей деревни были серые, молодой дракон забрел в эти места и влюбился в прекрасную девушку. Он похитил ее и запер в замке Вилленштейн, развалины которого красной глыбой и сейчас топорщатся на холме – только в те дни замок тоже был серый. Дракон приходил к девушке каждый день и смотрел на нее влюбленными глазами. И случилось чудо: девушка полюбила дракона, она поцеловала его, и он превратился в прекрасного принца. Они поженились и стали счастливо жить в замке. Чтобы порадовать народ, они построили эту печь, и каждый год пекли в ней луковый пирог для всей деревни, и выставляли к пирогу двадцать бочек местного вина «Шой-Ребе», которое считается лучшим в мире. Говорят, что вкус у того пирога был божественный, но только принцессе был известен его рецепт.

Так бы и жили они припеваючи, если бы не одна беда - вместо детей у принцессы рождались только маленькие дракончики. Она так стыдилась этого, что каждый раз, как у нее рождался новый дракончик, она тайком от всех, даже от мужа, ночью прокрадывалась на самый верх башни и бросала своего младенца вниз, чтобы он разбился насмерть на скалах. И вот однажды ночью принц проснулся и заметил, как его жена крадется в башню с корзинкой в руке. Он потихоньку пошел за ней следом, потому что был очень ревнивый и думал, что у нее свидание с кем-то, кто с самого начала был рожден человеком. Он спрятался за дверью и увидел, как она вынула из корзинки маленького дракончика, поцеловала его и бросила вниз в пропасть. Тогда принц страшно закричал от боли и превратился обратно в дракона. Увидев это, принцесса зарыдала и сама бросилась вниз. Кровь ее разбрызгалась по всей окрестности, и с тех пор скалы здесь стали такие красные. И стены замка тоже.

А несчастный дракон совсем потерял голову и пополз в деревню: он так долго был человеком, что разучился ходить по-драконьему. Пока он полз, его чешуя цеплялась за камни и кусты, и кровь брызгала во все стороны, так что вся земля здесь тоже стала красная. В конце концов, он приполз на центральную площадь и умер.

Жители деревни очень огорчились, они любили принца, хотя и знали о его темном прошлом - ведь когда-то он был драконом. И они решили сохранить память о нем – они выписали с востока мастеров, которые почистили его шкуру и сделали из нее чучело. И с тех пор каждый год юноши нашей деревни носят это чучело по улицам в память о той ужасной трагедии. А женщины пекут луковый пирог, хотя и не совсем тот, а похуже, потому что секрет рецепта волшебного пирога погиб вместе с принцессой.

Но какой-то рецепт все же сохранился – и поэтому наша фрау Лило раньше целую неделю перед праздником сидела на кухне и, плача, чистила и резала сотни луковиц для начинки. Это была ее доля в праздничном мероприятии – приготовить 200 кг. мелко нарезанного лука. Другие женщины изготовляли тесто и смешивали лук с ветчиной, а мужчины заготавливали дрова и пригоняли грузовики с вином и пивом. Потому что в груди у каждого из них «была арфа, была арфа, была арфа».

Но иногда эта арфа звучит слишком громко, и тогда вспыхивают горячие ссоры – это происходит от того, что какая-нибудь группа женщин начинает настаивать, будто обнаружила подлинный рецепт пирога принцессы. Размах этих ссор трудно понять постороннему наблюдателю, но сомневаться в их градусе

не приходится. Так, несколько лет назад мою фрау Лило лишили права плакать при очистке 200-т килограммов лука, и отдали это право двум молодым дамам из профессорского поселка, выросшего недавно на одной из окраин нашей деревни. Молодые профессорши беспардонно объявили, что их пирог будет ближе к источнику, потому что им удалось расшифровать и научно обосновать его рецепт, найденный ими в какой-то старинной книге. Так что теперь арфа переселилась, может быть, к ним и их мужьям, которые теперь заготавливают дрова и пригоняют на праздник грузовики с вином и пивом.

Мне пока не удалось выяснить, какое отношение к истории с драконом имеет долина Карлсталь, глубокой зловещей трещиной рассекающая наш кроткий лес на две неравные части. Она открывается глазу внезапно и неожиданно – она начинается с того, что не подозревающий подвоха путник безмятежно спускается по извилистой каменной лестнице в глубь земли, и застывает, не веря своим глазам. Сразу за поворотом из-под нависшей над бездной каменной глыбы вдруг вырывается бурный поток, который устремляется вниз, в ущелье, весь в бело-пенных барашках вихрей.

Промчавшись парой сотен метров, поток слегка утихает и начинает более размеренно струиться по глубокой синусоиде, стиснутой с двух сторон останками разразившейся здесь когда-то геологической катастрофы. Над клубящейся в узком русле водой то справа, то слева нависают огромные валуны, громоздящиеся друг на друге, как застывшие в эротическом порыве мамонты. Если бы можно было вскарабкаться по этим валунам несколько десятков метров вверх, невозможно было бы поверить в реальность постоянно разыгрываемой внизу неуместной шутки природы - скрывая в тени ветвей глубокую расщелину Карлсталя, над обрывом на много километров простирается безмятежный лесной массив.

Внизу под обрывом мощные водяные струи прорыли себе каменный путь, беспощадно вгрызаясь в скалы, подмывая корни вековых дубов и обрушиваясь внезапными водопадами. Что произошло здесь в далеком прошлом? Может быть, древнюю горную гряду тряхнуло краткое землетрясение? Но в истории этих мест нет никаких упоминаний о землетрясениях. А может быть, именно здесь прополз несчастный умирающий дракон, в один миг потерявший все, что было ему дорого? Он полз, изрыгая огонь, и скалы расступались под его натиском, нагромождая друг на друга многотонные гранитные валуны. Такое объяснение кажется мне наиболее убедительным.

А вслед за драконом по вновь возникшей долине прошли

люди – чего они искали, куда спешили? Они оставили после себя следы погибшей цивилизации – то тут, то там по обрыву поднимаются прорубленные в скалах гроты и полуразрушенные лестницы, не ведущие никуда. Они бегут наклонно по лесистому склону недлинными маршами, по пятнадцать-двадцать ступенек, и вдруг обрываются – хочется сказать, на полуслове. Кто строил их, куда они вели, почему обрушились, не дойдя до верха расщелины?

Вообще наши места недаром вдохновляют резчиков корней на создание морд леших, кикимор и другой лесной нечисти. Она, эта нечисть, наверняка водится в глухих чащобах – мы не раз заблуждались на знакомых тропинках, и долго–долго петляли по просекам, обрывающимся на полуслове, как лестницы Карлсталя. Где-то близко, совсем рядом, слышался собачий лай, мычание коров и гул едущих по шоссе машин, но ни одна дорога не выводила к человеческому жилью, а замыкалась сама на себя, пока лешему не надоедало водить нас за нос.

Зато когда мы вырывались, наконец, из заколдованного плена лесной нечисти, любая дорога заманивала нас в один из местных ресторанчиков, разбросанных маяками по всей долине Карлсталя. Ресторанчики эти представляют такое разнообразие человеческих вкусов, что я не могу удержаться от соблазна описать некоторые из них.

У самого входа в скрытое от несведущих ущелье Карсталя так же умело скрывается от несведущих элегантный дорогой ресторан «Имменхоф». Его не видно с дороги, и ни на одной афишной тумбе не висит его реклама – однако в любой день недели его умело скрытая от несведущих автостоянка заполнена роскошными автомобилями. Со стоянки можно увидеть только приземистое старинное здание без каких бы то ни было архитектурных излишеств, и все.

Красота обнаруживается только, если свернуть за угол – сразу за углом, с узкой, нависшей над головокружительный пропастью террасы взгляду открывается неохватный простор лесных угодий. Можно сесть на террасе в кружевное белое кресло за белый с витыми ножками столик, но лучше подняться на пару ступеней в святилище чревоугодия. В центре святилища, как и положено, высится алтарь – огромный, метра три на четыре, каменный очаг с настоящим живым огнем, полыхающим на искусно уложенных полешках. Над огнем на толстой цепи подвешена жаровня, в которой по вашему заказу можно испечь на огне кусок мяса или рыбы. По обе стороны алтаря гостей поджидают жрецы – муж и жена, оба немолодые, элегантные, поджарые, оба в белых перчатках, оба, как греческие боги, на голову выше своих

посетителей.

В зале полутемно, он освещен только свечами и переливами огня в очаге. Какое бы блюдо вы ни заказали, вам сначала подадут маленькую закуску, исполненную как натюрморт с выставки импрессионистов, так что даже жалко нарушить такое совершенство. Блюда здесь тоже необыкновенные, не такие, как в других ресторанах, и подают их на огромных старинных расписных тарелках, что, впрочем, нормально для святилища чревоугодия. Морозной пылью серебрится хрустальная рюмка, в которой подносится астрономически дорогая водка.

И, конечно, необходимо обязательно посетить туалет. К посещению туалета лучше подготовиться морально, чтобы не испугаться, подумавши, что вы случайно забрели в личный будуар хозяйки. Одну стену этой просторной, залитой розовым светом комнаты занимает большое зеркало в изящной раме, перед которым стоит удобное глубокое кресло. На мраморном столике перед зеркалом разложены разнообразные косметические приспособления, на стене напротив зеркала висят пейзажи здешних мест, подписанные художниками, в высокой вазе в углу стоят свежие цветы. Играет тихая музыка, и из какого-то скрытого в стене источника струится неназойливый цветочный аромат. Из такой комнаты просто не хочется уходить.

Естественно, что насладившись всеми прелестями ресторана «Имменхоф», мы, как говорится, «посчитали – прослезились», и начали старательно обходить его стороной. Для этого стоило только спуститься на несколько километров по течению Карлсталя и припарковать машину у покосившихся ворот форельной фермы «У Эрвина». У Эрвина весь антураж вступает в противоречие с элегантным изяществом Имменхофа. Народу там, правда, бывает не меньше, но марки машин на площадке у ворот куда скромнее. И туалета нет, есть выгребная яма, окруженная невысоким заборчиком из малолетних елочек, доходящих пользователю до пояса. Но пользование этой ямой не обязательно: тот привередливый, кому она не по душе, может сходить отлить в кусты над рекой,а, судя по количеству выпитого, отливать приходится часто.

О белых перчатках и речи нет, ни у наливающих, ни у отливающих, о фарфоровых тарелках тоже – однако это не значит, что чревоугодию тут не служат, просто тут служат ему по своему.

Алтарь, правда, в наличии имеется – это низкая жаровня с углями, на которой изрядно нетрезвый рыжий (и ражий) хозяин испекает в фольге свежевыловленную форель. В этой же фольге он подает ее на картонной тарелке, просто рыбу, без закуски и

гарнира, зато к рыбе – выпивка недорогая, не то, что в Имменхофе. Так что каждый может запивать рыбу в свое удовольствие - кто шнапсом, кто вином, кто пивом. У входа в покосившийся домик под тесовой крышей, служащий и магазином, и конторой, стоит ярко раскрашенный керамический человечек, уже принявший изрядно, как и хозяин, - куртка на нем нараспашку, штанов нет, так что все его мужские достоинства выставлены напоказ. Его поза недвусмысленно намекает, что если очень уж невтерпеж и добежать до кустов не выходит, то можно отлить и тут, на пороге. Правда, при мне этого ни с кем не случалось.

Но мы все же предпочли отказаться от рыбы Эрвина, ссылаясь на отсутствие не только перчаток, но и крана для мытья рук. Мы обогнули заросшее осокой озерцо, где плещется форель, продрались сквозь сплоченные заросли крапивы, и через десять минут выбрались по лесной дорожке к культурному комплексу «Унтерхаммер». Казалось бы, что может быть безумней идеи создать культурный комплекс даже не на пересечении автострад, а среди лесной пустыни на пересечении излучины крошечной горной речки с излучиной узкой извилистой дороги, на которой с трудом могут раъехаться две встречные машины?

Мы так и подумали, когда впервые услышали об этом от отважной молодой женщины, задумавшей и в конце концов осуществившей этот проект. Было это лет десять назад, когда мы в который раз забрели в Унтерхаммер, давно заброшенное поместье местного барона фон Хакке, печально ветшавшее над печальным заросшим тиной красивым прудом из другой жизни. Домов в усадьбе было два, оба в три этажа, оба благородных пропорций, они безмолвным укором нависали над дорогой с двух сторон, зияя выбитыми глазницами стельчатых окон, осененных ржавыми узорчатыми решетками.

Печаль особенно настойчиво сконцентрировалась над поместьем фон Хакке после того, как лет пятнадцать назад в одном из домов, в том, что рядом с прудом, заживо сгорела многодетная семья беженцев из Польши. Навсегда осталось тайной, подожгли ли их любящие соседи или пьяный папаша заснул с зажженной сигареткой в зубах, но из-за полной удаленности поместья от человеческого жилья и полной его отгороженности от мира излучинами лесистых холмов, пожар заметили слишком поздно, чтобы кого-нибудь спасти. Никогда не забуду фотографию в местной газете – семь до углей обгоревших трупов, два больших и пять маленьких, мал-мала-меньше.

Все-таки каменная кладка восемнадцатого, а то и семнадцатого, века не подвела, - не до конца сгоревший дом с

провалившейся крышей, весь в черных зализах неистребимой копоти, но с устоявшими против огня стенами, так и остался торчать над прудом мрачным напоминанием: «Мементо мори». Народ это место не жаловал, никто не ловил в пруду рыбу и даже самые смелые грибники обходили его стороной.

Но вот в один из очередных приездов мы добрели до Унтехаммера и удивились, заметив, что боковая дверь его приоткрыта. Вокруг было пустынно, как всегда, но из-за двери доносился шорох и даже нечто, похожее на мурлыканье. Первым моим чувством был испуг – уж не духи ли это пяти сгоревших заживо польских детишек, обуянные жаждой мести, поджидают прохожих?

Через пару минут мурлыканье затихло, а шорох сменился равномерными ударами молотка по металлу. Набравшись храбрости, я толкнула дверь и заглянула внутрь – навстречу мне шагнула высокая молодая женщина с занесенным над головой молотком. В ней не было ничего, напоминающего польских беженцев. У ног ее, глядя на меня без тени улыбки, сидел огромный волкодав.

«Кто вы?», – в растерянности спросила я ее по-английски, хотя в наших краях по-английски не говорит никто. «А вы кто?» - ответила она мне, тоже по-английски, что само по себе уже было чудом.

Мы разговорились – женщину звали Юдит, она со своим другом-голландцем приехала из Мюнхена создавать в нашем медвежьем углу культурный комплекс. Причем не просто из любви к культуре, а с твердым намерением поставить эту затею на прочную коммерческую основу. Для начала они купили по дешевке все заброшенное имение барона фон Хакке – два барских дома, бывшую конюшню и полусгнивший деревянный сарай без окон и дверей.

«Здесь я открою кафе, - предъявляя нам затянутую многолетней паутиной анафиладу мелких комнат справа, мечтательно сообщила Юдит, - простое, элегантное, кофе с пирожными, чай, и больше ничего. А слева, в этом зале - вы только гляньте, какая красота!».

Мы глянули – зал был просторный, благородных пропорций, но пол полностью сгнил, стекла выбиты, двери кое-как висели в покосившихся фрамугах. «Здесь я сделаю картинную галерею, в которой местные художники будут выставлять свои работы».

Мы засмеялись, восхищаясь ее бесшабашностью – ну кто потащится пить кофе в такую глушь? Не говоря уже о созерцании картин местных художников, которых-то и в городе не слишком жаловали.

Юдит не обиделась, она в себя верила: «Вы не смейтесь, а приходите в сентябре на открытие кафе!».

Мы пришли в сентябре, и глазам своим не поверили – умирающий дом преобразился и ожил – пятна копоти скрылись под слоем краски, на крыше наросла черепичная чешуя изрядных размеров. В зале, отведенном под галерею, почти закончили укладку изящного паркетного пола. Посетителей в кафе было немного, все приятели хозяйки, как и следовало ожидать. Пироги отличались изысканностью вкуса и форм, так же, как и кофейные сервизы, но особенно впечатлил меня рукомойник в туалете – такого я не видела больше нигде, ни до, ни после. Он представляет собой совершенно плоскую гранитную доску, прикрепленную к стене таким образом, что вода не выплескивается наружу, а стекает вниз, в невидимую щель. Я заподозрила, что это первый экспонат выставки одного из местных художников, и так оно и оказалось.

На следующий год в галерее начали появляться коллекции работ скульпторов, живописцев и фотографов. Их вернисажи становились все красочней и многолюдней, привлекая интерес местной интеллигенции и к работам художников, и к кулинарному искусству Юдит. Оказалось, что в наших краях полным полно служителей муз.

Более того, при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что служители муз изрядно замусорили наши пасторальные окрестности плодами своих трудов. Мы, бродя по лесам, не раз наталкивались на странные безобразные сооружения, выглядывающие то из травы, то из листвы, а иногда одиноко торчащие то на полях, то на полянах. Некоторые мы принимали за свято хранимые останки боев Второй Мировой войны, некоторые за поломанные ветряные мельницы, некоторые за разбросанные временем суставы злополучного дракона – коленные, тазо-бедренные и локтевые. Но однажды в исторической брошюре, посвященной 750-летию нашей скромной деревушки (750 лет – это вам не фунт изюма!), мы прочли горделивое сообщение о недавно прошедшей именно здесь международной выставке современной скульптуры.

И все стало ясно! Поскольку многие экспонаты этой славной выставки никто не затребовал обратно, особо трудные для транспортировки экземпляры были произвольно рассеяны по нашим лесным просторам для – страшно сказать! - их украшения.

Но я отвлеклась. А собиралась я рассказать о друге Юдит – голландце Винсенте. По профессии физеотерапевт и массажист, он затеял на втором этаже барского дома клинику по исправлению страдающих спин, повесив у входа вместо вывески

литографию картины Ван-Гога, крупно подписанную «Винсент». Клиника разрослась с такой же сверхзвуковой скоростью, как и культурный комплекс Юдит, поставляя ей постоянный поток клиентов для кафе – ну как после сурового массажа с выламыванием суставов не побаловать себя чашечкой душистого кофе с воздушным пирожным?

Все время, остающееся у Винсента от профессиональной работы, он тратит на усовершенствование своего поместья. С каждым годом оно становится все краше – давно забыты черные потеки копоти и провалившаяся крыша. Новая крыша из красной черепицы, украшенная старинными часами, видна теперь издалека, вокруг дома разбит элегантный парк с цветочными клумбами – как будто для красоты недостаточно природного леса! На месте гнилого сарая с выбитыми рамами Винсент построил современный спортивный зал, оснащенный новейшей аппаратурой, легко просматривающейся сквозь стеклянную стену фасада. Красивый круглый пруд сверкает на солнце зеркальной гладью чистой воды.

С прошлого года Винсент занялся приведением в порядок второго дома – не знаю, что он планирует там сделать, но в его искусных руках обреченный на гибель дом постепенно превращается в дворец, для чего он и был изначально предназначен бароном фон Хакке.

И как бы в противовес стремительной атаке «Унтерхаммера» на инерционную природу лесных жителей в трех километрах от него у самого выхода из ущелья дракона угнездился с позапрошлого века ресторан «Клюг'ше Мюле», тот самый, который гордится своей солидной бюргерской кухней. Все в нем и вправду солидно, старомодно и невкусно – сколько лет я пытаюсь, и никак не нахожу вкус в бюргерской кухне, в кислом колбасном салате, в еще более кислом и скользком картофельном салате, в фирменном жирном супе с печеночными клецками, и в тягучих от избытка желе фруктовых пирожных. Трудно понять, почему толпы туристов, насладившись прогулкой по зловещему ущелью, с удовольствием уплетают все эти исконно немецкие яства, с трудом подаваемые пожилыми хромоногими официантками в белых фартуках и чепцах. Не знаю, из жалости их здесь держат или для местного колорита, но больно смотреть, как они, с трудом ковыляя на ревматических ногах, тащат на террасу полные подносы тяжеленных пивных кружек.

С террасы ресторана открывается завораживающий вид на разноцветные лесные угодья и на мирную речку, которая, с рокотом вырвавшись из-под последнего валуна Карлсталя, неожиданно успокаивается и продолжает струиться кротко и

нежно, словно знаменитая цветочница, укрощенная Пигмалионом.

Я подозреваю, что именно тут, на этой идиллической лужайке испустил дух злосчастный дракон, - иначе невозможно объяснить, почему здесь внезапно исчезают все разрушительные следы геологической катастрофы, и бурный поток превращается в овальное озерцо исключительно гармоничных очертаний, по которому загадочно скользит пара королевских лебедей. Скольжение их загадочно, потому что нельзя увидеть ни одного движения, его вызывающего – ни одно перышко на их крыльях не шевельнется, как не дрогнет ни один мускул уходящих под воду перепончатых лап, только время от времени склонится к партнеру маленькая головка на змеиной шее, партнер ответно кивнет такой же маленькой головкой на змеиной шее, и оба без какого либо видимого усилия грациозно развернутся и слаженно заскользят в противоположном направлении.

Три года назад произошла трагедия – один из лебедей умер, мы так и не узнали, ОН это был или ОНА. Два года одинокий лебедь почти неподвижно возвышался посреди озерца, явно не желая никуда скользить без друга, или подруги. А в этом году ему – или ей – нашли пару, и они опять неразлучно курсируют по зеркальной водной глади.

И все же, несмотря на красоту королевской лебединой пары, я бы об этом ресторане писать не стала, если бы не гуси. С ранней весны берега вытекающей из озерца кроткой речки заполняются суетливой толпой молодых гусей, еще не достигших размера зрелого гуся – они ссорятся и мирятся, щиплют траву и купаются в речке. Хозяева ресторана не устают кормить их, поить и холить.

Эти гуси вылупились из яиц совсем недавно, несколько месяцев назад, и не подозревают, почему их хозяева так нежно и любовно о них заботятся. Ведь они еще не прожили на свете и года, откуда же им знать про веселый осенний праздник святого Мартина, во время которого каждый немец имеет право на ароматную порцию печеного гуся, фаршированного яблоками и каштанами?

Но иногда в мирном гусином обществе вспыхивает немотивированная тревога. Один из гусей вытягивает шею вперед и вверх и начинает с громким гоготом хлопать крыльями. Услышав его гогот, несколько других гусей в разных концах долины тоже вскидывают головы и начинают хлопать крыльями. В ответ первый гусь, все так же гогоча и рассекая крыльями воздух, мчится мимо своих беззаботно пасущихся собратьев вверх по течению ручья. Несколько гусей следуют за ним, оглашая воздух трубными криками и хлопаньем крыл. Их поступательное

движение увлекает за собой все новых и новых участников, пока постепенно вся гусиная орава не присоединяются к общему хору, и через пару минут мирная стая превращается в боевой отряд, отважно марширующий под звук собственных фанфар.

«Га-га-га!» - слаженно и звонко кричат они, все, как один, дружно отбивая гусиный шаг, полные решимости постоять за свою жизнь. Распахнутые крылья полощутся на ветру, как флаги.

При желании в их боевой песне можно различить отдельные слова: «Долой праздник святого Мартина! Долой праздник святого Мартина!» - скандирует слаженный гусиный хор.

Но гусиной решимости хватает ненадолго. Сперва один гусь отвлекается и, наклонив шею, щиплет какую-то травинку , мелькнувшую среди стеблей, за ним второй, и вот уже весь боевой отряд, позабыв о своих гражданских правах, растекается по берегу ручья в поисках лакомого кусочка.

Демонстрация протеста заканчивается ничем, бунт рассасывается сам собой, и ничто уже не помешает хозяину испечь бунтовщиков в день святого Мартина.

Любопытство заставило нас специально отложить дату отъезда, чтобы попробовать этого пресловутого гуся. Хоть цена одной порции была неправдоподобно высока, место за столиком требовалось заказать заранее – а то ведь могло и не достаться!

У входа в ресторан мы встретили несколько знакомых пар, которые при виде нас неизменно радостно восклицали:

«И вы тоже пришли попробовать нашего знаменитого гуся?»

Было ясно, что они воспринимают наш приход как комплимент немецкой культуре – даже наше присутствие на концерте «Спиричуалз» их так не восхитило: может быть потому, что «Спиричуалз» все же дитя хоть и прекрасное, но не родное, а американских негров.

Зал был набит до отказа, и все с нетерпением следили глазами за колченогими официантками, разносившими гусей святого Мартина. Мы тоже следили, предвкушая. Наконец перед каждым из нас поставили тарелку, на которой возвышалось нечто ломкое, темно-коричневое, украшенное парой крупных, размером в теннисный мяч, плотных мучных клецок, погруженных в разваренную до состояния каши красную капусту. Я ткнула коричневое ножом, оно хрустнуло и распалось на две части, внутри которых в яблочном пюре томились распаренные каштаны.

На мой вкус гусиное мясо было перепечено, капуста и яблоки передержаны, а клецки просто несъедобны, но все остальные посетители ресторана были в восторге. Они с таким наслаждением разминали высококалорийные клецки в красной

капустной жиже, что я не решилась отставить тарелку нетронутой. Тем более, что сидящие поблизости приятели по плавательному бассейну то и дело озирались на нас и спрашивали, не сомневаясь в ответе: «Не правда ли, потрясающе вкусно(вундершон?)».

И мне вспомнилось, как мы слушали в Берлинской опере Вагнеровскую «Валькирию» - когда я попыталась шепотом рассказать Саше подробности сюжета, весь зал обернулся и посмотрел на нас с великим гневом. Они просто сверлили нас ненавидящими взглядами, так что я, оставив идею просветить Сашу на месте, еле слышно прошелестела: «Тише! Еще одно слово, и нас отправят в Освенцим прямо из зрительного зала».

С тем же чувством опасности я принялась расчленять малоаппетитного гуся, понимая, что своим отказом его есть могу оскорбить чувства сидящих вокруг меня служителей культа Святого Мартина. Я, почти задыхаясь, запихивала в рот тугоплавкие клецки, представляя, как мои любезные приятели, заметив тарелку с недоеденным лакомством, глубоко оскорбятся и выбросят меня из зала в ноябрьскую грязь, намытую дождем под баллюстрадой лебединого озера. Причем им нисколько не будет стыдно, потому что у каждого из них в груди есть арфа, есть арфа, есть арфа...

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, ТЫ УЖЕ ЗА ХОЛМОМ

В Екатеринбург, в девичестве Свердловск, мы прилетели на рассвете июньского дня2002 года. Летели мы из Москвы, о которой после двадцати лет разлуки ничего нового рассказать я не могу, кроме того, что там все говорят по-русски, даже милиционеры. Впрочем, к этому чуду можно еще добавить, что в Москве живут героические женщины. Не взирая на то, что в городе слишком много подземных переходов без эскалаторов, почти все женщины любого возраста ходят там в модельных лодочках на высоченных шпильках, таща в руках тяжеленные сумки с продуктами.

Однако, какой бы ни была Москва, она никак не подготовила нас к встрече с Екатеринбургом. Там, правда, тоже все говорили по-русски, но этим, пожалуй, сходство исчерпывалось. Я не встретила там ни одной женщины, даже самой что ни на есть юной, в лодочках на острых шпильках. Да практически ни одной по настоящему нарядной женщины. Зато в отличие от Москвы о Екатеринбурге можно рассказывать и рассказывать.

Можно начать с аэропорта, куда прибыл в то июльское утро наш московский Боинг. Щурясь от сияния только что взошедшего, очень юного и ретивого, солнца, мы спустились по трапу на идиллически тихую зеленую лужайку, на которой не было ни одного самолета, кроме нашего. И, притаптывая девственно-зеленую травку, побрели с чемоданами в руках к возвышающемуся невдалеке зданию, на стене которого красовалась схема полетов из Свердловска во все концы земного шара. Начерченные золотой краской прямые лучи выходили из сердцевины схемы по всей окружности, достигая Лондона, Парижа, Чикаго, Пекина, Иоганнесбурга и Калькутты. Простирающееся вокруг травяное поле, явно не тронутое самолетным шасси, никак не подтверждало правдивости горделивой схемы.

«Это все осталось в прошлом, теперь у нас есть только два полета в сутки – один из Москвы, другой из Петербурга, - печально сказал встречавший нас физик из местного Института Металлов. И добавил, не дожидаясь нашего вопроса - Авиакомпания разорилась, билеты слишком дороги, и у людей нет таких денег».

Выходит, у жителей с Екатеринбурга денег на билет нет, а у

жителей Свердловска были! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Загрузив чемоданы в автобус, мы покатили в отведенную нам резиденцию. Все, кроме меня, были члены израильской научной делегации, приглашенной для совершения взаимного акта российско-израильской дружбы, и потому нас поселили в санатории для новых русских. Но хоть во имя этой дружбы принимали нас по первому разряду, нормального шоссе нам обеспечить не смогли – всю дорогу из аэропорта нас швыряло, качало и грохало о разбитый асфальт.

Санаторий для новых русских оказался не слишком шикарным и почти приемлемым, если не замечать постоянно протекающих унитазов и отваливающихся дверных ручек. Зато вокруг шелестел и благоухал сказочный хвойный лес, главный объект моей ностальгии.

«Сейчас поставлю чемодан и побегу гулять по лесу!» – забывшись, воскликнула я, подражая восторженным девушкам из чеховских пьес. Но меня тут же грубо вернули в проклятую екатеринбургскую действительность:

«В наш лес выходить категорически запрещено, он полон энцефалитных клещей, - поспешно охладил мой пыл кто-то из хозяев. - Я вам советую, каждый раз по возвращении осматривать себя, особенно подмышками, клещи любят впиваться в подмышки».

Образ клещей, впившихся в мои подмышки, отрезвил меня достаточно, чтобы я потеряла интерес к сказочному лесу и направилась в далеко не сказочный город. А может, это просто была другая сказка, где никто не читал Чехова и не знал, что в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли? Насчет души и мыслей не скажу, но лица в этом городе были серые, и одежды тоже, зато лиц таких на улице было великое множество, молодых и старых, мужских и женских, – и это в разгар рабочего дня! Может, в этом сером городе никто не работал, и все отдыхали?

Но в такое благополучие почему-то не верилось. Вместо того, чтобы безмятежно отдыхать, потоки людей с серыми лицами заталкивались в маленькие жестяные автобусы-коробочки, какие ходили по Московской области лет сорок тому назад, и куда-то ехали. Я наугад втиснулась в такой автобус и тоже поехала неведомо куда. Кондукторша, с трудом протискиваясь через густо спрессованную толпу, продавала розовые билеты, отрывая их от висевшей у нее на груди катушки.

Наслаждаясь возможностью говорить с кондукторшей по-русски, я спросила, какая остановка конечная, она ответила «Больница». И я доехала до больницы, тем более, что к концу

пути автобус сильно опустел, и даже можно было сесть. Больница мне была ни к чему, меня просто завело туда праздное любопытство, так что я решила, не выходя из автобуса, ехать обратно в центр. Но не тут-то было – кондукторша безжалостно высадила меня, объявив обычное российское «не положено», против которого в моем арсенале не было оружия.

Я покорно вышла, и направилась было на другую сторону корявого пригородного шоссе, где предполагалась начальная остановка того же автобуса. Но меня задержало неожиданно открывшееся странное зрелище, напомнившее полузабытые кадры, то ли из фильма Феллини, то ли из фильма Бюнюэля. Прямо напротив приземистого здания больницы возвышался одинокий холм, когда-то наверно заросший травой. Но трава была уже изрядно вытоптана, вернее, просижена, потому что по всей наклонной поверхности холма печальными рядами сидели десятки стариков и старух. Такого количества стариков и старух, скученных на малом пространстве, я не видела никогда, даже в фильмах Феллини и Бюнюэля.

Они сидели безмолвно, неподвижно и покорно, словно чего-то ждали. Поначалу у я решила, что они ждут, когда автобус, сделав круг, подкатит к начальной остановке, но автобус подъехал, и ни один из них не шелохнулся. Тусклые глаза их были прикованы к дверям больницы, беззубые рты полуоткрыты. Завороженная их неподвижностью, я тоже застыла и забылась, в результате чего автобус укатил без меня, и пришлось дожидаться следующего.

Поскольку он предполагался только через полчаса, я попыталась найти такси. Однако минут через десять, когда до меня дошло, что понятие «такси» в этом городе вряд ли кому-нибудь известно, я, решила дождаться автобуса – другого способа выбраться оттуда все равно не было. И вдруг среди сидящих на холме стариков началось какое-то волнение. Некоторые стали вставать со своих мест и спускаться вниз, за ними потянулись другие, и вскоре на проезжей части дороги образовалась небольшая колонна, которая никуда не двигалась, а лишь слабо колыхалась на одном месте.

В голове у меня замелькали безумные сценарии. «Массовое самоубийство» выглядело бы убедительно, но исключалось полным отсутствием проезжающих машин, а автобусом старики явно пренебрегли. Для «Демонстрации протеста» не хватало плакатов и лозунгов. Чтобы разрешить свои сомнения, я опять воспользовалась тем, что все говорили по-русски, и спросила у стоящей рядом старушки, куда они направляются.

« Сейчас будут раздавать остатки обедов, - пояснила

старушка уже на ходу, так как колонна поспешно двинулась в сторону больницы. И зыркнула на меня ревниво. – Но ты не рассчитывай, это только для пенсионеров».

Я и не рассчитывала – мой автобус подошел раньше, чем открылось окошко милосердия, так что даже увидеть раздачу остатков мне не удалось, не то, что отхватить тарелку с недоеденным кем-то супом. Я с облегчением села на свободное сиденье возле окна, но всю дорогу ничего за окном не видела – перед моими глазами неотступно маячили покорные старческие лица с беззубыми ртами и потухшими глазами, жадно устремленными на заветное окошко в больничной стене.

Когда автобус привез меня в центр, возвращаться в свой санаторий для новых русских было еще рано – конференция, на которую приехал мой муж, профессор физики Тель-Авивского Университета, должна была длиться еще несколько часов. Я двинулась в сторону, противоположную той, откуда приехал автобус, в надежде, что там мне откроется что-нибудь утешительное. Все-таки город этот раньше считался российским Чикаго и славился своей мощной индустрией. Не могла же эта слава развеяться, как дым, за столь короткий срок?

Через пару кварталов мне показалось, что сквозь окутывающую город дымку печали вроде бы просвечивается что-то пестрое и даже веселое. Главную улицу, по которой я шла, пересекал широкий, обсаженный деревьями бульвар. Он был заполнен густой многоцветной толпой. Я свернула с главной улицы и увидела, что ошиблась – толпа была обыкновенная, тусклая, зато сам бульвар полыхал красками.

По обе стороны центральной аллеи далеко-далеко, насколько хватало взгляда, тянулись торговые ряды, полные причудливых предметов. Чего только там не было - картины, писаные маслом, лунные пейзажи, умело вырезанные из красочных уральских камней, подсвечники из таинственно мерцающего селенита, черные бархатные витрины, усеянные брошками из яшмы всех возможных цветов, кольцами с сердоликом, браслетами из кварца, ожерелья из хризолита, хрусталя и малахита!

Сначала я бродила среди этой неземной красоты, просто наслаждаясь, но, постепенно трезвея, осознала, что вся она выставлена на продажу – и ринулась покупать. Цены были просто смехотворные – украшения ручной работы из натуральных уральских самоцветов стоили сущие гроши, и я накупила их вдоволь, всласть, для себя, для друзей, для родных. Торговцы быстро смекнули, что я, хоть и говорю по-ихнему, но все же иностранка, и стали заламывать цены, которые, однако, по-прежнему казались мне смехотворными. Так что, в конце концов,

довольны остались все – и я, и они.

Автобус, который должен был отвезти меня в мое временное пристанище, почему-то не пришел, следующий должен был по расписанию появиться через час, но никто не знал, появится он или нет. И я решила все-таки попытать счастья и найти такси – я вообразила, что в центре города на это больше надежды. И точно, после четверти часа поисков мне удалось набрести за углом на древнюю колымагу, гордо к украшенную табличкой «Такси». Мне показалось, что шофер слегка озадачен просьбой отвезти меня в дальний пригород, но мое согласие заплатить названную ему, по всей вероятности безумную цену – что-то около трех долларов – вынудило его согласиться. И мы тронулись в путь.

Через несколько кварталов мотор такси задымился и принялся надрывно чихать, скорость заметно упала, и еще через пару кварталов машина остановилась, как вкопанная. Некоторое время она дрожала, как умирающая лошадь, а потом как-то осела и затихла.

«Отмучилась, страдалица! Я же говорил, не доедет, - с каким-то садистским удовольствием сказал шофер. – Придется вам добираться на автобусе, дамочка»

Слово «дамочка» он произнес, будто лягушку проглотил, но я все еще не могла врубиться в ситуацию:

«Тогда вызовите мне другое такси!» – потребовала я.

Шофер оглядел меня со странной смесью презрения и жалости, и я всей кожей почувствовала себя дамочкой, совершенно здесь неуместной, в кричащей парижской блузке и в режущих глаз плетеных итальянских сандалиях.

«Да где его взять – другое такси-то? – выкрикнул он риторически. – Ведь я один-единственный на весь город, а у меня сцепление полетело, царствие ему небесное! Так что идите к автобусу, дамочка!».

«Ладно, отвезите меня назад в центр», - пролепетала я, сдаваясь.

«До центра я не доеду, дай бог до гаража добраться. Так что идите, дамочка, пешочком, два квартала направо, сядете там на тройку, а на конечной пересядете на девятку, и через час, если повезет, будете на месте».

Мне не повезло, и до места я добралась не меньше, чем часа через два, полностью вкусив всю прелесть екатеринбургского существования. Больше в самостоятельные экспедиции по городу я не пускалась, и видела его только из окна институтского минибуса, который исправно возил членов делегации на осмотр местных достопримечательностей.

Главных достопримечательностей было две – часовня,

построенная над тем домом, где по легенде был зверски убит царь Николай Второй со всей семьей, и большой камень, километрах в сорока от Екатеринбурга, отмечающий границу между Европой и Азией. Часовня была еще не достроена (или на ремонте), и нас туда не впустили. А шоссе, ведущее к знаменательному камню, было так изувечено многолетним напором зимних снегов и не знающих времени многотонных грузовиков, что путешествие к границе двух континентов осталось у меня в памяти сущим наказанием. И даже память о том, как Федор Достоевский дважды целовал этот камень - по пути на каторгу и обратно, - не помогла мне, пока я, подтягивая к горлу рассыпанные дорожной тряской внутренности, подбиралась к этому камню на нетвердых ногах.

Были нам показаны еще две достопримечательности, не рассчитанные на туристов. Недалеко от центра города возвышалось недостроенное здание, претендовавшее когда-то на роль небоскреба. Как сообщили нам сопровождающие лица, строительство небоскреба внезапно заморозили на восьмом этаже, обнаружив, что с последующих этажей можно будет увидеть окружающие город военные объекты. Объектов этих было столько, что деньги, уже вложенные в постройку будущего небоскреба, показались градоначальникам сущим пустяком.

Другой интересный объект лежал в лесистой низинке – это было огороженное оградой совершенно новое обширное кладбище, все могилы которого были помечены не раньше, чем 1991 годом. И большинство клиентов которого не достигли и тридцати лет. Это было кладбище жертв грандиозной гражданской войны, вспыхнувшей при разделе бывшей уральской государственной промышленности. Кто победил, мне неведомо, но результаты этого раздела прямо-таки кололи глаза – пустотой аэропорта, серостью лиц и одежд, безработицей и печатью невыразимой печали.

Дни конференции пролетели быстро, и, как положено, в знак счастливого ее завершения был назначен банкет. Назначен он был почему-то не на последний, а на предпоследний день. Причина этой странности открылась нам не сразу, а лишь назавтра после банкета – оказалось, что на последний вечер назначено было его продолжение, так как не все было съедено, а, главное не все выпито.

Выпивки было невообразимое количество при невообразимом ее разнообразии. При этом угощение вполне соответствовало выпивке – и по количеству и по разнообразию. Стол просто ломился от яств - копченные бараньи бока и свиные языки золотились среди жареных перепелок, дивных паштетов из

гусиной печенки, заливной осетрины и красной икры, фаршированной черной. Я уже не говорю о немыслимых соленьях – об огурчиках, помидорчиках, о трех сортах грибочков, о капусте белой и красной и серо-буро-малиновой. Да всего не перечислишь.

Трудно было поверить, что за стенами нашего санатория унылые серые граждане теснятся в туго набитых автобусах-коробочках и голодные старики терпеливо ждут, когда им вынесут из больницы чужие объедки. Впрочем, местные академики, окружающие роскошный стол, накрытый скатертью-самобранкой, не слишком отличались от больничных стариков – таким неподдельным восторгом горели их глаза при виде этого банкетного великолепия.

Мой сосед справа, по виду вполне пригодный к роли старика на больничном холме, опорожняя рюмку за рюмкой, горько пожаловался, что все его профессорские доходы, включая академическую надбавку и деканскую зарплату, с трудом достигают трехсот долларов в месяц. Сосед слева, академик, из Новосибирска, горько сетовал, что доехать до Екатеринбурга можно только на ужасном, битком набитом поезде, который тащится двое суток, так как самолеты давно отменили. Его особенно радовали соленые помидорчики, которые были у них в Новосибирске большой редкостью, хотя он лично выращивал несколько кустов свежих помидорчиков на своем академическом подоконнике..

Главного героя, председателя конференции, всесоюзного академика, приехавшего на это предприятие из Москвы, на банкете не было. Да и вообще его видели только на церемонии открытия - произнеся приветственную речь, он твердым шагом вышел из зала и исчез. Сначала ходили слухи, что он то ли заболел, то ли вернулся в Москву, но вскоре все разъяснилось – он со своим заместителем заперся у себя в номере, оснащенным большим ящиком водочных бутылок, и три дня пил, не просыхая. «Он приехал сюда расслабиться и снять стресс» - пояснили нам его Екатеринбургские коллеги.

И мы его поняли и простили. Говоря «мы», я имею в виду русско-язычную часть израильской делегации, - из семи их было трое. Поняли ли его израильтяне, я не уверена.

Все немного выпили, - каждый по своим критериям, разумеется: израильтяне по наперстку, свердловчане по графину - председательствующий от Института Металлов звякнул ложечкой о бутылку и общий шум стих. Профессор откашлялся и поднял бокал:

«Господа, завершена Израильско-Российская конференция,

подтверждающая факт дружбы между русскими и евреями. Наши отношения с евреями были всегда сложными и драматическими. В семнадцатом году евреи устроили нам революцию, и Россия покатилась под откос. Но им этого было мало – в девяностом году они устроили нам вторую революцию, результаты которой вы видите вокруг себя».

В этом месте мой муж не выдержал. Он крикнул громко, а голос у него зычный:

«Если вы будете продолжать в том же духе, мы и третью революцию вам устроим!».

Директор на миг осекся, и не известно, куда бы потекла банкетная река, если бы в этот миг входная дверь не распахнулась, пропуская высокого человека в ладном костюме, сопровождаемого двумя громилами, вооруженными автоматами с короткими стволами. Человек в костюме быстрым шагом двинулся к столу, громилы шли за ним по пятам.

«Уже пришли брать!» - воскликнул мой муж.

И ошибся.

Человек в костюме обхватил за плечи председателя израильской делегации, бывшего профессора Екатеринбургского Университета, и смачно поцеловал. Оказалось, что он – бывший студент нашего председателя, пренебрегший академической карьерой ради бизнеса. Он оказался одним из победителей гражданской войны за раздел уральской государственной промышленности, а громилы с автоматами были всего лишь его телохранителями. Похоже, что на нем лежала львиная доля ответственности за роскошь банкетного угощения. И потому его появление смягчило возникающий конфликт, - увидев, как он нежно целует председателя еврейской делегации, академики сменили тон. На сцену вышел другой Екатеринбургский профессор, склонный не к агрессии, а к юмористическому подходу.

«Друзья мои, - сказал он лукаво, - наши отношения были драматичны, но ваш приезд вносит в них новую ноту. Это нота доверия. И я хочу рассказать вам сказку о доверии.

Шел как-то Иван-царевич по лесу и увидел лягушку. Она сказала нежным голосом: Иван-царевич, возьми меня к себе во дворец и поцелуй. Тогда я превращусь в прекрасную девушку и стану твоей любовницей.

Идея понравилась Ивану-царевичу. Он принес лягушку к себе во дворец, из осторожности на кухню, и там поцеловал. Как только он ее поцеловал, она тут же превратилась в прекрасную девицу, к сожалению, одетую, и начала торопливо раздеваться. Она успела снять с себя юбку и кофту, но только перешла в

нижнему белью, как в кухню вошла жена Иван-царевича. Увидев полуголую прекрасную девицу, она слегка опешила и спросила :

«Иван-царевич, а это кто?».

«Это лягушка – я принес ее из лесу», - ответил Иван-царевич, глядя жене в глаза чистым взором..

И жена ему поверила.

Так выпьем же за доверие!».

И академики выпили – раз, еще раз и еще много-много раз, - и водочки, и коньячка, и опять водочки, и опять коньячка, закусывая эту благодать жареными рябчиками и красной икрой, фаршированной черной. Старческие глаза их источали слезы радости и умиления – ведь им не часто перепадали такие милости. Похоже, их не слишком смущало, что представители израильской науки далеко отстали от них по количеству выпитого. А может, я не права – эта наша неспособность расслабиться в питии укрепляла в их душах то самое доверие, которое так изящно описал их красноречивый коллега.

Не могу с определенностью сказать, на какую роль он нас назначил, на роль коварного Ивана-царевича или на роль его доверчивой жены, но город Екатеринбург я покидала назавтра с большим облегчением. Я прошла по не топтаной траве бывшего аэропорта к никем не охраняемому самолету, твердо надеясь, что я побывала в этом городе не только первый, но и последний раз.

Говорят, что с тех пор омертвевший Екатеринбург слегка оживили, пригласив для его воскрешения несколько китайских строительных фирм, но мне трудно в это поверить. Наверно потому, что увиденная мною тягостная картина выглядела вполне органичной, а возрождение с помощью отряда китайских кудесников выглядит синтетическим. Ведь китайцы в конце сказки вернутся в Китай, а вечная российская реальность останется такой же, какой ей предначертано быть. И все вернется на круги своя.